

БЕЛА ИЛЛЕШ

**КОВЕР
СТЕПАНА
РАЗИНА**



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ



БЕЛА ИЛЛЕШ

762/182

К О В Е Р
СТЕПАНА РАЗИНА

П О В Е С Т Ъ

ПЕРЕВОД С ВЕНГЕРСКОГО
ИОСИФА ШНЕЙДЕРА

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1925

Напечатано в типографии ОГПУ,
им. г. Воровского
Б. Лубянка, д. 18.
Главлит № 36.015. Тираж 10.000.



Государ. публичная
Историческая
Библиотека РСФСР
№ 22058 ✓

ПРЕДИСЛОВИЕ

К числу самых ходких заблуждений принадлежит предрассудок, будто эпохи революции крайне бесплодны в художественном отношении, а активные участники революционной борьбы не бывают способны создавать художественные ценности. Этот предрассудок можно опровергнуть целым рядом исторических фактов. Достаточно вспомнить хотя бы, что английская революция XVII века выдвинула гигантское дарование Мильтона. Наша современная литература тоже свидетельствует о полной возможности сочетания революции и искусства.

Бела Иллеш—коммунист, активный участник советской революции и гражданской войны в Венгрии, активный революционный борец в Прикарпатской Руси, шесть раз арестованный буржуазным правительством Чехо-Словакии. И, тем не менее, этот активный пролетарский революционер находит время и силы для того, чтобы создавать немаловажные художественные ценности. Еще в 1917 году Бела Иллеш выпустил в Венгрии пацифистскую книгу,—в то время не такое распространенное явление, а в 1919 году вышла из печати его книга «Спартак», уже проникнутая идеями классовой борьбы пролетариата. С тех пор его произведения—«Раздавленные люди», «Золотой гусь», «Николай Шугай», «Красные сказки» и др.—появляются и отдельными изданиями и на страницах периодической печати разных стран, на разных языках.

Нет ничего удивительного, что революционер и коммунист Бела Иллеш, и как художник, тяготеет к социальным проблемам, к социальным темам. Его прежде всего интересует наша бурная и величавая эпоха, эпоха войн и рево-

люций». Он подходит к ней без романтической мистики, без истеричной сентиментальности, без ходульного пафоса. Он прост и реалистичен, как проста и реальна классовая борьба пролетариата.

Белла Иллеш умеет художественно вскрывать классовые противоречия, раздражающие современное общество. Он не дает символических абстракций, не дает безличного стада, не дает кукол с наклеенными этикетками: «пролетарий», «буржуа», «крестьянин»,—нет, он показывает нам живых людей с их индивидуальными особенностями, с их радостями и страданиями, с их героизмом и слабостями. Но за этими чертами индивидуальной психологии Иллеш всегда умеет вскрывать социальные, классовые корни этой психологии. Не являясь безжизненными, похожими друг на друга автоматами, герои Иллеша в то же время всегда носят на себе ясный отпечаток той или иной социальной формации. Так преломляется в литературе марксистское миропонимание.

Достаточно приглядеться к тому, как удается Иллешу вскрыть социально-экономические корни психологии крестьянства. В повести «Ковер Степана Разина», предлагаемой вниманию читателя, дана отчетливая характеристика крестьянской психологии: в этой книге нет нехудожественной публицистики, но в то же время читатель видит, как рабская зависимость крестьянского хозяйства от природы порождает религиозность крестьянства, как замкнутость деревенского мира мешает крестьянам понимать связь событий, суживает их кругозор, как все это порождает узкий эмпиризм крестьянина. Разве не великолепна сцена, когда собравшаяся беднота, со скукой слушая рассказ Мартина Вагнера о революции, упорно переводит разговор на ожидающееся прибытие лошадей? И в то же время мы видим, как, под благотворным влиянием городского пролетариата и под давлением эксплуатации кулачества, дает трещину козность крестьянской бедноты, начинается обновление деревни. В другой прекрасной повести «Николай Шугай» Иллешу удалось художественно и убедительно показать, как перечисленные выше отрицательные стороны крестьянства губят

революционное движение в деревне, если это движение развивается без руководства индустриального пролетариата.

Георг Гервег еще в 40-х годах XIX столетия написал свою изумительную «Песню ненависти», — этот патетический гимн священной вражде к тирании. Эта великая ненависть угнетенных к угнетателям, ненависть, которая «священнее любви святой», нашла себе прекрасное творческое выражение в произведениях Иллеша. Он не только удачно изображает пробуждение этой ненависти в трудящихся массах, нет, само его творчество насквозь пропитано этой классовой враждой к поработителям. Это сказывается на той убийственной иронии, с которой Иллеш рисует представителей эксплуатирующих классов. Однако, беспощадно бичуя сынов гниющего капитализма, Иллеш никогда не впадает в то же время в грубую карикатурность, всегда остается верен художественной правде, всегда сохраняет чувство меры и такт.

Не следует думать, что революционность Иллеша влечет за собой идеализацию и казенный оптимизм в изображении классовой борьбы. Наоборот, он вовсе не скрывает неизбежных темных, отрицательных сторон революционного движения. Стоит только вспомнить сцену изнасилования жены полицейского чиновника повстанцами Николая Шугая, чтобы убедиться, что Иллеш менее всего прикрашивает действительность. Не менее ярко нарисовал Иллеш в повести «Золотой гусь», разложение, проникшее в значительные круги венгерской коммунистической эмиграции, мыкающей горе в Вене. Тут и склоки, и взаимное недоверие, и мания преследования. Но все эти темные стороны не заслоняют от Белы Иллеша основного смысла нашей эпохи, основного смысла нашей борьбы. И в той же повести «Золотой гусь» мы видим, как активная революционная борьба быстро излечивает товарищей от обычных болезней эмигрантщины. Правдиво и убедительно звучат слова секретаря партийного комитета, сказанные в ответ на жалобы героя повести по поводу эмигрантских склок: «Некрасиво? Конечно, цвет абрикосового дерева или же восход солнца красивее. Но, знаете ли, я часто радуюсь этому безобразию, потому что из него я вижу лишь то, что мы уже неспособны погрязнуть в обыкновенной

жизни, мы не можем стать филистерами. Вы понимаете: мы бойцы телом и душой. Борьба притягивает наши руки, как магнит притягивает железо. Если борьба и затихла, все-таки мы наших рук не опустим. Мы хотим новой борьбы. Надеюсь, сын мой, что больше объяснять мне нечего: мы бойцы. Все это не беда, плохо бы было, если бы было иначе. Двух товарищей, которые подали друг на друга заявления на предмет исключения из партии, я вместе послал в Венгрию. Из них вышла самая хорошая, подпольная двойка. Ну, выше голову! Ступайте, товарищ! В подпольном секретариате вас уже ждут».

Иллешу удастся правдиво показывать все темные стороны революции и, в то же время, выявить всю ее силу только благодаря тому, что с самого начала он подошел к рабочей революции без интеллигентской идеализации, без романтической фантастики, трезво и серьезно, как подобает пролетарскому революционеру.

«Ковер Степана Разина» — последняя повесть Белы Иллеша. Тема ее нова, интересна и оригинальна. В Социалистической Республике Немцев Поволжья, в одном из сел, кулаки, пытавшиеся прежде свергнуть советскую власть вооруженной рукой, позже, воспользовавшись голодом, захватили в свои руки сельский совет и стали «законно» эксплуатировать бедноту. Возвратившийся из Красной армии коммунист — уроженец этого села — Мартин Вагнер, при помощи центральной Советской власти и партии, оказывает экономическую поддержку бедноте, а затем, при помощи своеобразного бедняцкого восстания, вырывает сельский совет из рук кулаков. В повести превосходно выявлены классовые противоречия, разоблачена зверская кулацкая эксплуатация, но нельзя не отметить чрезвычайного внимания стихийных способов борьбы с кулачеством. Секретарь партийного комитета Эпштейн указывает Мартину на необходимость вести умелую и тактичную политику, но Мартин поддается стихийному революционному взрыву бедноты. Вполне возможно, что такие случаи были в действительности. Это тем более возможно, что в Республике Немцев Поволжья деревня особенно дифференцирована в клас-

совом отношении, середняцкий слой количественно незначителен, и потому классовая противоположность между кулачем и беднотой выступает особенно резко. Тем не менее, нет никакого сомнения, что в настоящий период революции такая стихийная борьба с кулачеством не правило, а исключение. Партия и пролетариат умеют проводить эту борьбу организованным способом, экономическими методами, а не методами «вне-экономического пробуждения», не в ущерб общей продукции сельского хозяйства. Поэтому, во избежание утери перспективы, следует пожелать, чтобы в дальнейшем Бела Иллеш уделил больше творческого внимания обрисовке организуемых сторон революции, обрисовке товарищей Эпштейнов, которые направляют по правильному руслу революционную энергию Мартинов Вагнеров.

Бела Иллеш избегает широких красочных полотен. Он динамичен, как наша эпоха. Действие у него нарастает быстро, стремительно. Его рисунок четок и сух, его характеристики резки и силуэтны. Его произведения—суровые гравюры. Употребляя термин изобразительных искусств, его следует признать графиком, а не живописцем. Но эти законические повести и новеллы производят сильнейшее действие, потому что в них бьется пульс нашей эпохи, потому что в них дышит сама жизнь. Каждый, кто ищет искусства, созвучного великим временам решительных классовых битв, должен ознакомиться с произведениями Белы Иллеша. Особенно же рекомендуем их читателям-рабочим.

Г. ЛЕЛЕВИЧ.

Москва, 3 апреля 1925 г.

The history of the...
The first part of the...
The second part of the...
The third part of the...
The fourth part of the...
The fifth part of the...
The sixth part of the...
The seventh part of the...
The eighth part of the...
The ninth part of the...
The tenth part of the...
The eleventh part of the...
The twelfth part of the...
The thirteenth part of the...
The fourteenth part of the...
The fifteenth part of the...
The sixteenth part of the...
The seventeenth part of the...
The eighteenth part of the...
The nineteenth part of the...
The twentieth part of the...
The twenty-first part of the...
The twenty-second part of the...
The twenty-third part of the...
The twenty-fourth part of the...
The twenty-fifth part of the...
The twenty-sixth part of the...
The twenty-seventh part of the...
The twenty-eighth part of the...
The twenty-ninth part of the...
The thirtieth part of the...
The thirty-first part of the...
The thirty-second part of the...
The thirty-third part of the...
The thirty-fourth part of the...
The thirty-fifth part of the...
The thirty-sixth part of the...
The thirty-seventh part of the...
The thirty-eighth part of the...
The thirty-ninth part of the...
The fortieth part of the...
The forty-first part of the...
The forty-second part of the...
The forty-third part of the...
The forty-fourth part of the...
The forty-fifth part of the...
The forty-sixth part of the...
The forty-seventh part of the...
The forty-eighth part of the...
The forty-ninth part of the...
The fiftieth part of the...
The fifty-first part of the...
The fifty-second part of the...
The fifty-third part of the...
The fifty-fourth part of the...
The fifty-fifth part of the...
The fifty-sixth part of the...
The fifty-seventh part of the...
The fifty-eighth part of the...
The fifty-ninth part of the...
The sixtieth part of the...
The sixty-first part of the...
The sixty-second part of the...
The sixty-third part of the...
The sixty-fourth part of the...
The sixty-fifth part of the...
The sixty-sixth part of the...
The sixty-seventh part of the...
The sixty-eighth part of the...
The sixty-ninth part of the...
The seventieth part of the...
The seventy-first part of the...
The seventy-second part of the...
The seventy-third part of the...
The seventy-fourth part of the...
The seventy-fifth part of the...
The seventy-sixth part of the...
The seventy-seventh part of the...
The seventy-eighth part of the...
The seventy-ninth part of the...
The eightieth part of the...
The eighty-first part of the...
The eighty-second part of the...
The eighty-third part of the...
The eighty-fourth part of the...
The eighty-fifth part of the...
The eighty-sixth part of the...
The eighty-seventh part of the...
The eighty-eighth part of the...
The eighty-ninth part of the...
The ninetieth part of the...
The ninety-first part of the...
The ninety-second part of the...
The ninety-third part of the...
The ninety-fourth part of the...
The ninety-fifth part of the...
The ninety-sixth part of the...
The ninety-seventh part of the...
The ninety-eighth part of the...
The ninety-ninth part of the...
The hundredth part of the...

THE HISTORY OF THE

КОВЕР СТЕПАНА РАЗИНА

I

Единственный коммунист в деревне был Мартин Вагнер. То, что Мартин Вагнер, единственный, оставшийся в живых коммунист этой деревни, все еще живет и работает, нужно приписать благоприятному стечению обстоятельств, то-есть пуле в живот, которую он получил на врангелевском фронте. Он пролежал в больнице добрые полгода, а затем, как только он поправился, оказался в школе красных командиров. Только поэтому он не погиб в ту знаменитую ночь, когда деревенские кулаки, под предводительством Вальтера Гефеле, истязали арестованных коммунистов, а затем, чтобы скрыть следы преступления, разрезали двенадцать трунов, увезли на телегах и бросили в Волгу. Прославленный атаман белой банды, хозяйничавшей в то время близ утеса Стеньки Разина, обещал было повстанцам свою помощь. Кулаки ждали и не дождались этой помощи. На третий день, вместо священной дружины белых, с крестами на рукавах, о которых они мечтали, явились красноармейцы с советскими звездами. Большевики заняли деревню, обыскали все дома, забрали оружие, а кузнеца Гефеле, кантора Шульца и семнадцать человек богатых кулаков увезли с собой. Но мертвых уж не воскресить, и таким образом деревня осталась без коммунистов. Детей—сирот убитых коммунистов—партия устроила в маркштадтские школы, а двум вдовам, оставшимся жить в деревне, назначила ежемесячное пособие.

Все это произошло весной, еще до великого голода. В то время Мартин был уже в Москве, в кремлевской школе.

Там он узнал об убийстве коммунистов, а потом и о грядущем голоде. Он пожелал, чтобы его откомандировали в родную деревню, но партия велела ему продолжать учебу. А когда учебу закончилось, и он с успехом сдал все экзамены, последовало назначение Мартина Вагнера в одну из московских конных частей.

После четырехмесячной службы в должности взводного командира, он получил приказ об увольнении. Партия послала его домой, в родную деревню. Ему было приказано явиться в Покровскую партийную организацию, чтобы там получить дальнейшие указания.

В Покровске, в партийном комитете, он не узнал ничего нового о деревенских делах.

— Поезжай домой, — посоветовал ему товарищ Эпштейн, — осмотришься. Потом уже приезжай к нам, тогда обо всем поговорим.

И Мартин уехал домой на пароходе, вверх по Волге. Осень была уже близка, в такое время, перед большими дождями, вода в реке спадает. Острова, над которыми весной проходят большие пароходы, теперь поднимаются высоко из воды. Вдали видно большую пристань, где в мае причаливают большие, глубоко сидящие пароходы. Теперь на месте причала мерными шагами ходят по песку тяжело нагруженные верблюды.

На пароходе Мартин встретил четырех земляков, которые с трудом узнали в одетом в серую солдатскую шинель парне сына Иосифа Вагнера. С тех пор, как Мартин уехал из дому, прошло около пяти лет. А если такой промежуток времени не так мал для обыкновенного времени, то для наших дней он слишком велик. За эти годы Мартин выправился, похудел, черты его лица стали более твердыми. Даже его голубые глаза как будто стали темнее.

Когда-же, наконец, мужики все-таки узнали его, то говорили с ним очень неохотно. Говорили как бы вынужденно, с оглядкой, выискивая слова, остерегаясь, чтобы не проговориться.

— Голод-то? Да, конечно. Не мало погибло людей.

— Помогал Совет? Ну, конечно, конечно...

— Что же наша деревня?... Сам увидишь...

Четыре часа на пароходе, затем три часа ходьбы—и Мартин был дома.

Самый крайний дом деревни, тот, в котором жил когда-то Гефеле, сгорел. Его так и не отстроили. В другом конце был большой амбар, выстроенный из хорошего крепкого дерева. Теперь он заброшен. Дом рядом тоже брошен жильцами, у другого дома нет крыши.

У дома Вагнера не было ворот. Дверь в самый дом открыта. Здесь, должно быть, живут.

Мартин узнал сидящую у плиты на корточках женщину, когда она заговорила испуганным, плачущим голосом. Это была жена Франца Губера.

— Совсем старуха,—подумал про себя Мартин.—А ведь по годам моя ровесница.

Он старался успокоить старуху.

— Ничего, Анна, ничего. По крайней мере, стены остались.

— Ты голоден?—спросила его старуха (приветливее этого вопроса она, повидимому, не могла себе представить).

— Не очень... Впрочем, могу поесть...

Старуха сняла с плиты черную, железную кастрюлю и поставила ее перед Мартином на стол. Мартин взялся за картофельный суп. Старуха снова села на корточках перед плитой, только в этот раз спиной к огню. Она не спускала глаз с Мартина, как будто хотела убедиться, умеет ли он обращаться с ложкой.

— А как Франц?—спросил Мартин.

— Помер,—ответила старуха почти безразличным голосом.—Осенью помер, еще до голода.

— Ну, а детишки?

Она не ответила, и потому Мартин повторил вопрос еще раз. И тогда старуха встала, молча вышла и уселась на скамейке перед домом. Сидела она неподвижно и безжизненно, уставившись в пустоту. Затем внезапно подняла обе руки и затем, как бы защищаясь, держала открытые ладони перед самым лицом.

Мартин положил ложку и встал. Только теперь он, как

следует, оглядел комнату. Не легко узнать старую мебель. У стола не хватает одной ножки. Широкая кровать, подушки которой когда-то чуть не упирались в потолок, теперь накрыта одним старым, рваным одеялом. Вместо стекол в окнах—бумага.

Он вышел посмотреть конюшню. Если разобраны, а здесь когда-то стояли четыре лошади и две коровы. Но в то время в доме Вагнеров было четырнадцать едоков.

Когда Мартин подошел к старухе, та встала и ушла в дом. Мартин в недоумении смотрел ей вслед. Ему хотелось кое о чем пораспросить, но он передумал. Не сказав ни слова, ушел в деревню.

День клонился к вечеру, улицы были почти пустынные. Окна домов были темными провалами, изредка мелькали огоньки. Кое-где сидели на скамейках перед своими домами, но, как только Мартин приближался к ним, они вставали и уходили в дом, как будто убегая от него. Это повторилось в трех или четырех местах.

И так Мартину пришлось пройти по бедной главной улице, которая теперь называется улицей Карла Маркса, не встретив ни души.

В деревне, как и на полях, однообразие и скука великих степей. Нигде ни деревьев, ни кустов, ни травы. Всюду песок и песок...

Мартин еще ни с кем не говорил о деревенских делах, но он уже понял без слов все, что видел. Все то, что за последние годы он слышал и читал о судьбе деревни, все, о чем его учили в городе, встало перед его глазами в этой заброшенной, жалкой, деревенской улице. Старая деревня разрушена революцией, и над развалинами еще не началась работа.

Теперь Мартин понял, для чего ему нужно было вернуться домой. Здесь, пожалуй, много работы, и, конечно, здесь не мало врагов. С кем именно придется бороться—он еще не знал. Но в одном он был уверен: кто бы ни были эти враги, победит в конце концов он. Эту уверенность он приобрел на собственном опыте в гражданской войне. Затем в школе его научили тому, какие именно силы предре-

шают исход всякой борьбы в пользу коммунистов. Теперь Мартин не мог оказаться в таком положении, когда хотя бы на одну минуту он усомнился в своей победе.

Мартину, наконец, надоела одинокая прогулка, он повернул обратно, возвращаясь домой. И когда проходил мимо дома Франца Губера, увидел в окне свет.

— Ещё не легли—подумал он и решил войти. Он постучал в окно, и никто не ответил. Когда же постучал во второй раз, за воротами кто-то сказал:

— Кто там стучит? Что нужно?

— Это я, Мартин Вагнер. Только сегодня приехал. Никого еще не видел, хотел бы разузнать обо всех. Увидел свет и постучал.

Мужчина высокого роста, стоявший за воротами, подумал с полминуты, затем, наконец, решился и открыл калитку.

— Ну, что же, войди.

Мартин теперь только узнал, с кем он говорил. Это был Павел Куттнер. В империалистическую войну они вместе служили на галицийском фронте.

— Ну, что же, войди.

Жена Куттнера, Ольга Гефеле, стояла в дверях, но, узнав Мартина, вошла в избу. Там в комнате они все-таки пожали друг другу руки, но не заговорили. Между ними давно все было кончено. Что прошло—прошло. Умные люди старого не вспоминают. Когда пять лет тому назад Мартин в последний раз уезжал из своей деревни, уже тогда между ними все было кончено. Ни он, ни она не могли бы определенно сказать, почему. Именно так вышло. Ни с того, ни с сего, как-то вдруг они стали чужими друг другу. А теперь она приняла его почти враждебно. Когда мужчины сели у стола, хозяйка с грудным младенцем и другим ребенком, который уже ходил, вышла в кухню.

— Ты, значит, вернулся... А мы думали—ты больше не приедешь... Так и останешься в городе...

— А что мне делать в городе? Там не сеют и не жнут. Солдаты нынче тоже не очень нужны.

— Так, так—ответил Куттнер и не стал больше расспра-

шивать, направив все свое внимание на фитиль керосиновой лампы.

— Давно ты в этом доме?—попробовал продолжать Мартин.

Куттнер не сразу ответил. Он поступал так же, как те земляки—пассажиры на пароходе: долго обдумывал и прожевывал прежде, чем сказать слово.

— Скоро два года...—ответил он наконец.

— Купил?

— Купил.

— Фрау Губер живет у меня. Она уже сказала мне, что ее Франц умер. Ну, а как же дети?

— Разве ты не слыхал?

— Я еще ни с кем не говорил.

Куттнер перекрестился прежде, чем продолжать беседу:

— Она с'ела обоих малышей. Сначала померла девченка.

Мать изжарила ее и некоторое время кормилась ею вместе с сынишкой. Затем помер и мальчик. А старуха сама помещалась. Говорят, она самая чудная из их богомольной братьи.

Долго сидели они молча. Мартин в глубоком раздумьи рассматривал висящую против него на стене икону. Куттнер беспокойно двигался. Ясно, что он с удовольствием выпроводил бы своего гостя.

— Час поздний...—сказал, наконец, Мартин.—Завтра зайду к тебе. Тогда поговорим.

Куттнер проводил его до ворот.

— Неужели в самом деле ты думаешь остаться у нас в деревне?—спросил он, когда Мартин пожал ему руку.

— Конечно, думаю.

— Здесь, брат, жить трудно.

— Ну, тем более.

В доме Мартина было темно. Старуха сидела у стола и глядела в темноту. Когда Мартин вошел в комнату, она встала, зажгла свечу и прикрепила ее к столу. Мартин сел у стола, старуха уселась на корточки около печки, и оба долго молчали.

— Пора ложиться спать,—наконец сказал Мартин.

— Ложись на кровати,— ответила старуха.— Я буду спать на соломе.

Мартин не ответил. Он бросил свою шинель на кучу соломы, лежащую в углу, и лег на нее.

— Завтра утром я уйду отсюда,— сказала старуха.

— Зачем же тебе уходить?... И куда? Места хватит. Как же ты живешь?—спросил, немного спустя, Мартин.

— Все лето я работала. Хорошо зарабатывала. Господь благослови Майера. Теперь у меня много картошки. Хватит до самой весны. Семь штук на каждый день. Соли тоже достаточно. И есть чем топить.

— А куда же ты девала деньги, которые получила за дом?

— Деньги?— удивленно спросила старуха,— я не получала денег.

— Разве ты не продала дом?

— Продала. За полпуда конины и пуд кукурузы.

Мартин вскочил и, сидя на полу, посмотрел ей в глаза.

— Ты говоришь правду?

— Суфую правду. Многие так продавали свои дома и косы, и плуги. Хлеб тогда уж очень был в цене. И мясо... Ты теперь будешь жить в деревне?—спросила она, должно быть, чтобы переменить разговор.

— Да.

— Совсем один?

— Я-то один не буду,— ответил Мартин.

Прежде, чем уснуть, старуха долго молилась.

— Теперь мне надо много молиться на дому,— сказала она Мартину.— Так приказал мне наш братец старейшина.

II

Мартин долго не мог заснуть.

Он многое пережил за последние девять лет. Теперь дома, на родине, есть о чем вспомнить Мартину.

Ему было всего двадцать два года, когда царь послал его в Галицию. В те времена немецким мужикам-колонистам в их собственной деревне была запрещена немецкая

речь. Прислали донских казаков с пашками и нагайками, и они заставляли немцев-колонистов каждое воскресенье молиться о даровании победы царю. Когда пришел Октябрь, Мартин сразу пошел в Красную гвардию. И в дни, когда Юденич стоял под Петроградом, Мартина приняли в коммунистическую партию. Пусть он не много понимал в программе партии, но уже тогда он хорошо знал, кто ему друг и кто враг. Больше и не требовалось в те времена. За три года он перебивал на девяти фронтах и был четырежды ранен. Когда по царскому приказу он уходил из дому, по нем плакали мать и невеста. Мать уже давно на кладбище, а невеста не особенно охотно узнала его сегодня, в доме Павла Кутнера.

Мать... Кто бы мог подумать, что так скоро исчезнет с лица земли семья Вагнер. Старый, крепкий дом, в котором со времени первой колонизации целые столетия жили и работали Вагнеры, старый дом, который за эти долгие годы четыре раза вновь отстраивался, в какие-нибудь три года совсем опустел. Как все немцы-колонисты Поволжья, Вагнеры никогда не делили землю между членами семьи и работали всей семьей на своей земле. Но у жены Иосифа Вагнера рождались одна за другой только девочки, и только последний ребенок был мальчик — Мартин. У младшего брата Иосифа Вагнера совсем не было детей. Таким образом, Мартин стал единственной и последней опорой семьи. Все дочери вышли замуж за крестьян из других деревень, Мартин был взят в солдаты, а затем ушел на войну. Старики остались одинокими на долгие годы и так и не дождались сына. Оба они умерли во время великого голода. И теперь, вернувшись на родину, Мартин испытал чувство, очень похожее на то, которое ему пришлось испытать в разведке на колчаковском фронте. Однажды он заблудился, и, когда, наконец, как ему показалось, нашел свою часть, он радостно пошел ей навстречу и вдруг очутился среди белых.

Мартин долго не мог уснуть и поздно проснулся утром.

Старуха уже успела приготовить для него суп из тыквы. Мартину было стыдно, что он так долго спал. Наскоро с'ев

суц, он, чуть не бегом, пришел в Сельсовет. Там он встретил Павла Куттнера и спросил у него, кто председатель Совета. Куттнер вместо ответа ударил себя в грудь. Председателем совета был он, Куттнер.

Мартин упорно посмотрел ему в лицо, а затем перевел взгляд на висящий на стене портрет Ленина. Затем не сказал ни слова, уселся и закурил трубку. Куттнер тоже закурил, и, когда в комнате стало темно от дыма, они начали потихоньку, помаленьку говорить о делах. Сначала Мартин поинтересовался насчет земли.

— В этом отношении у нас все в порядке,—успокаивал его Куттнер.—Недавно, перед осенним посевом, вновь поделили землю. У одних семья увеличилась, у других—убавилась. Исходя из этого, совет определил каждому, что ему полагается. Степь велика, всем хватает, земли даже больше, чем нужно.—Вся беда только в том,—закончил Куттнер,—что нет рабочего скота, да и орудий маловато. Урожай был нынче хороший, но ведь ни лошади, ни верблюды, ни плуги на полях не родятся.

— Ну, а много ли в деревне бедняков?

— Да у нас все бедняки... Четыре лошади, две коровы—это уж самое богатство... Сам знаешь, какое это богатство здесь, где четыре лошади с трудом только и тащат плуг из глины и песка. У большинства вообще никакого скота нет.

— Как же они пахут?

— Ну, живем мы по-братски. У кого есть скот, тот и поможет бедняку-соседу: умереть с голоду мы друг другу не дадим...

Эти слова немного успокоили Мартина, который никак не мог забыть о доме, проданном за пуд конины. Теперь он смотрел на Куттнера иными глазами. Если недоверие его еще не прошло, то теперь он все-таки мог говорить о купленном Куттнером у старухи Губер доме.

Прежде, чем ответить на вопрос Мартина, Куттнер некоторое время в философском молчании жевал свою трубку. Признаться, точно он уже не помнит, сколько именно он заплатил тогда за этот дом. В то время все было дешево,

кроме пицци. Люди гибли массами—прямо как на фронте.

— А многие тогда продавали свои дома?

— Многие. А мы были так глупы, что купили. Какая же теперь нам от них польза? Нежилых домов в деревне, сколько хочешь, даже больше, чем жилых. Кто захочет, может получить от Совета. Но тогда многим еще удавалось сбывать свои дома.

Мартин интересовался фамилиями, но Куттнер никак не мог их вспомнить. Наконец, после упорных вопросов Мартина, он вспомнил Карла Шмидта. Тот тоже продал в голодный год свой дом и живет теперь здесь, во дворе Совета, в старой конюшне.

— Он как раз дома. У него лихорадка.

Мартин попрощался и ушел.

— Я еще зайду расспросить насчет земли,—сказал он, выходя из комнаты.

В конюшне, на том месте, где раньше стояли ясли, на куче соломы, покрытой рваным одеялом, лежал Карл Шмидт. Ему было плохо. Он лежал уже третий день. Но гостя он узнал сразу. О его приезде он слышал уже вчера вечером. Он очень рад его приходу, извинился, что никак не может предложить ему места, где можно присесть.

— Какой черт поместил тебя здесь, в конюшне?—спросил его Мартин.

— Это жилье я получил от Совета. Теперь всеми пустыми домами распоряжается Совет. Мне дали эту конюшню, но ничего, мне хватит, я теперь одинок, жена померла, дети работают в Саратове. А ты какими судьбами здесь, в деревне?

Вместо ответа Мартин продолжал расспросы.

— А с домом что ты сделал?

— Дом? Черти взяли мой дом. За дом плуг и косу я получил, пуд конины и полтора пуда овсянки.

— А кому ты продал?

— Майеру Иоганну, черт бы его взял! Тот во-время запяса, привез из Ростова много муки и овса. Должно быть, уговорился с сатаной, тот ему предсказал, что будет беда.

— А почему ты теперь не подашь жалобу в суд? Ма-

ленько похлопочи и все получишь обратно. Все, что было таким способом у тебя куплено. Советская власть не потерпит такого грабежа.

Шмидт почесал голову. Сначала он что-то проворчал про себя, но затем все-таки решился сказать.

— Конечно, конечно, — говорил он, — Советы помогают бедным. Но если кто станет судиться и получит свой дом обратно, тот может сразу повеситься в своем доме. Дело, брат, в том, что без скота земля ни к чему. Кое-кто попробовал, ну, и получил песок вместо хлеба. А скот имеет именно тот, кто купил наши дома. Кто вздумает с ними ссориться, тому никакая земля ничего не даст. Совети дают землю, — это правда. Слово свое они сдержали, землю дают всякому, — но на кой черт мне земля, если нечем ее вспахать. Если, ты, брат, в дружбе с теми богатеями, у которых есть скот, они вспашут и твою землю. А из твоего урожая возьмут большую часть, кое-что все же останется тебе самому. Это, конечно, мало, но ведь каждый дурак знает, что и немного лучше, чем ничего. Здесь в деревне ты не найдешь ни одного человека, который пошел бы судиться из-за своего дома.

Мартину не хотелось верить своему странному собеседнику. Он спросил Шмидта: кто еще, кроме него, продал свой дом таким образом. Живы ли еще те несчастные, и где их найти? У Шмидта память была много лучше, чем у Кутнера, он знал точно всех. По его указаниям Мартину нетрудно было добиться всех нужных сведений. Он посетил еще трех «бездомных» и подробно расспросил их. Затем он отправился домой. Теперь он уже знал, с каким врагом придется иметь дело.

До сих пор ему казалось странным, что партия откомандировала его из армии, теперь же он не мог понять, как могли его так долго удерживать в городе. Но, конечно, партия, лучше знает, когда именно наступило время для перемены работы.

После полудня, Мартин вернулся домой. На коленях, на куче соломы, молилась старуха. Мартин не хотел ее трево-

жить, сел у стола и ждал. Но прошло около часа, старуха все еще молилась. Мартину надоело, и он сказал:

— У тебя есть обед, Анна?

— Утром я приготовила суп на весь день.

— Ну, давай. Теперь я сам буду заботиться о том, чтобы у нас была пища. Завтра же я поеду в Покровск. Придется притянуть к суду Куттнера из-за твоего дома. Идет?

Старуха кивнула головой. Затем, когда Мартин стал есть, она тоже присела к столу и глядела на него безжизненными глазами.

III

Как только за Марином захлопнулись ворота, Куттнер вышел из дома и направился в конюшню. Он остановился на пороге и вошел только тогда, когда нашел, что больной Шмидт должным образом приветствовал его.

— Ну, все еще валяешься? Нечего сказать, живешь, как барин, другие за тебя работают, а сам на всем готовом, как князь какой-нибудь.

Шмидт еще не знал, что именно нужно от него Куттнеру, но из предосторожности, на всякий случай,—заныл и стал жаловаться на болезнь... Все еще кружится голова, все тело ломит от лихорадки... Но сказать о других подробностях болезни он не успел, так как Куттнер остановил его.

— Я видел, у тебя был важный гость, Вагнер Мартин. Чего он от тебя хочет?

— Ничего. Он пришел насчет дома. Поговорить со мной о моем доме, который я продал. Он говорит, что я получу свой дом обратно. Он говорит, что уладит это дело в городе, у коммунистов, и еще говорит, что даст мне двух лошадей. Реквизитом для тебя, говорит, если ты только будешь идти за коммунистами.

— Ты, говоришь, лошадей тебе обещал? И дом? Гм. Здорово! А золотые часы не обещал?

Шмидт хмурил брови, как бы стараясь вспомнить.

— Нет, золотых часов не обещал,—сказал он очень нерешительно,—или, по крайней мере, я этого не помню. Но он

хотел насильно навязать мне дом и еще двух лошадей. Но я, конечно, сейчас же сказал, что, раз я продал, значит, своему слову не изменю, ни в коем случае, даже если все ихние городские коммунисты будут умолять на коленях. Ни за что. А если нельзя получить лошадей, иначе, как нарушив свое слово насчет дома, то пусть лучше оставят своих лошадей себе, мне их не нужно. Ничего мне от них не нужно, пусть все лучше будет по-старому. Кое-что заработают детишки, кое-что принесет земля. Будет с меня всяких этих новшеств.

Куттнер подозрительно слушал больного. Он охотно верил тому, что Вагнер обещал вернуть ему дом. Но, с другой стороны, он ни на минутку не сомневался и в том, что мерзавец Шмидт не отказался от его предложения. Чорт бы побрал этого Вагнера! Нужно же было именно такому лишнему человеку вернуться с фронта! Прямо несчастье для всей деревни! А ведь все было налажено! На последних выборах он и еще восемь богатых мужиков единогласно были избраны в Совет. Все такие трезвые, установившиеся люди. Все имеют по четыре лошади и несколько коров. Насчет землеустройства тоже все было благополучно. Уже никому в голову не приходило говорить про дома. Голодная беднота была довольна тем, что богатые пожалели их и милостиво запахали их земли за половину урожая. Все шло как по маслу, а теперь... Куттнер, конечно, великолепно понимал, что справиться с Вагнером будет нелегко: ведь эти коммунисты, это такой мерзкий народ, что если один из них откроет рот, все другие сразу развесят уши. Именно потому так чертовски трудно с ними справиться—чтоб им пусто было!

— Я тебе, Шмидт, только одно скажу из дружбы: тебе лучше свой нос в чужие дела не совать. Тебе хорошо жить именно так, как ты живешь сейчас. Если будет какая-нибудь перемена, тебе от нее только хуже будет. У тебя двое детей, которым следовало бы посещать школу. Если ты пойдешь в суд, там тебя сразу спросят: где дети, что они делают? А если ты скажешь, что они в Саратове просят милостыню, тебя выгонят, а их заберут в детский дом. Я тебя спрашиваю, Карл Шмидт, как же ты жить будешь, если дети тебя не прокормят?

Больной испуганно слушал эти слова и с трудом присел на своей убогой постели. От испуга ли или от лихорадки у него началась сильная рвота. Куттнер спокойно наполнял свою коротенькую трубку свежим табаком и, не обращая никакого внимания на приступ лихорадки, медленно и хладнокровно раз'яснял школьные законы. Сначала он говорил вообще об обязательном обучении, а затем применил сказанное к шмидтовским детям. Наконец, как будто бы ему все это дело уже надоело, повернулся к больному спиной и отправился к выходу. В дверях он еще раз остановился и, пожимая плечами, бросил ему на прощанье:

— Впрочем, мне-то все равно. По мне хоть вешайся.

Поздней осенью, когда все полевые работы уже кончились, в деревне, даже в утренние часы, чувствуется жизнь. Один работает на улице, чинит завалянку у своей избы, другой возится во дворе на конюшне. Надо же, как следует, приготовиться к холодам. Куттнера, когда он проходил мимо работающих, всюду встречали громкими приветствиями. Отвечал он небрежно, вынимая трубку изо рта только у тех домов, где жили члены Совета.

Дома его ждала большая неприятность. Лучшего и красивейшего петуха жена нашла в конюшне издохшим. Не то с'ел что лишнее, не то лошадь ударила копытом,—неизвестно: так или иначе—случилась беда.

— Эх, глупая женщина,—обрушился на жену Куттнер.—Почему ты ему шею не надрежешь?

— А зачем мне ему шею надрезать, он и так уже подох.

— Тоже народ, бабы...—сказал с презрением Куттнер.—Ты не рассуждай, а лучше ему, как следует, надрежь шею и почисти его. Я снесу его в подарок ксендзу.

Жена ничего не ответила. Ей было стыдно, что она сама об этом не догадалась. Теперь она живо взялась за работу. Надрезала дохлому петуху горло, заботливо ошипала его и уложила в маленькую корзинку, добавив еще два красивых яблока. Пусть ксендз обрадуется! Корзину она молча передала мужу, который за это время успел почистить и надеть свою темносинюю двубортную, немец-

кую тужурку и черную сукожную фуражку с узким козырьком. При встречах с ксендзом он всегда имел безупречный и даже франтоватый вид. Делал он это не столько из уважения, сколько из уверенности, что одежда показывает его зажиточность, и это делает его как бы равным более образованному человеку. В этом виде даже целование руки у ксендза он считал для себя менее унижительным. Куттнер был, как всегда, чисто выбрит. Волосы он подстригал так, чтобы из-под фуражки только впереди выглядывал небольшой вихор. Одежда сидела на его высоком, худом, костлявом теле по-военному: тесно и аккуратно. Все вообще было на нем, как полагается у первого человека в деревне.

С корзиной в руке он теперь вторично прошел по улице Карла Маркса. По этой корзине все мужики могли легко догадаться, что он идет именно к ксендау. Для тех, кто был более близко знаком с его политикой, не могло быть тайной и то, что настоящим подарком Куттнера ксенда обязан Мартину Вагнеру.

Ксенда жил в каменном доме, на углу «Аллеи Либкнехта»,—в единственном во всей деревне доме с железной крышей. Дом имел даже веранду. На веранде стояло удобное старое кресло, на нем сидел ксенда, греясь на солнышке и читая городскую газету. Газету он читал самым последним, но читал весьма основательно. Дело было в том, что покровская немецкая газета «Нахрихтен» («Известия») получалась в деревне два раза в неделю. Деревня бедная, газету выписывали только в одном экземпляре. Читал ее, прежде всего, Куттнер, а затем поочередно все другие члены Совета. Приблизительно через неделю она попадала, наконец, к ксендау. Остальное население деревни осведомлялось о жизни страны и о мировых событиях только из слов читающих газету авторитетов.

Ксендау было около сорока пяти лет. Был он человек худой, низкого роста, с узким лицом и черными волосами. Он принял у Куттнера подарок, поблагодарил его и предложил гостю сесть. Куттнер сначала поцеловал у него руку, затем уселся и сразу же стал наполнять свою трубку, сосредоточив все свое внимание на этой работе. Таким образом,

он хотел заставить ксендза первого начать разговор. Но ксендз был человек неглупый и великолепно знающий своих прихожан. Он сразу же сообразил, что означает посещение и поцелуй руки со стороны «представителя власти». Он был очень неглуп, и деревенское католическое население если и не особенно любило своего «духовного отца», все же очень высоко ценило его. Потому что, хотя он был сух с людьми, но великолепно умел разбираться в том, когда нужно много говорить и ничего не сказать или же, смотря по надобностям, дать великолепнейшие советы, ценнее всяких денег, одним молчанием, не говоря ни слова. До чего он был умен, видно хотя бы из того, что никогда не имел никаких столкновений ни с белыми, ни с красными. Если деревенские дела теперь так хорошо устроены, то это, большей частью, нужно тоже приписать именно его мудрости. Правда, доказать это было бы трудно, так как никогда и никому о своих заслугах он не говорил, но, на самом деле, это именно он уговорил уклоняющихся от всякой политики богатых мужиков взять в свои руки дела деревни. И вот—слово ксендза оказалось словом божьим, все шло у них, как по маслу. Девяти членам Совета было легко сговориться между собой по всем вопросам, остальной же народ шел за ними без колебания, как маленькие поросята за хозяином, у которого в руках сито с кукурузой.

— Погода у нас ничего, — начал, наконец, Куттнер, когда, стало ясно, что не зачем больше возиться с трубкой.

— Да, — ответил ксендз коротко.

— Если только бог даст и осенний снег выпадет раньше первых морозов, то весной, пожалуй, озимые будут хороши.

Ксендз кивнул головой в знак согласия, и теперь он взялся за свою трубку. Трубка у него была необыкновенная: большой, красивый турецкий чубук из черного дерева, отделанный серебром.

— Ну, и проклятый язычник, — сказал он по привычке, показывая трубкой назад, будто за спиной у него стоит тот самый турок, который сделал его трубку, — даже на трубку свое серебро кладет, а бедному христианскому народу на хлеб еле-еле хватает.

Куттнер понял, что ксендза ему не перехитрить и решил перевести разговор на желанную тему.

— Вчера вечером приехал Мартин Вагнер—коммунист.

— Так, так, — ответил ксендз. — Значит, все-таки вернулся.

— Он останется жить у нас...—продолжал Куттнер.—
Надо будет выделить ему землю.

— Да, безусловно. Как уж полагается по закону. Все должно быть, как написано в законе, всегда и везде.

— Конечно, мы и выделим... мы и выделили бы... но...

Куттнер почесал голову и умолк.

— Ничего курится трубка, ничего,—сказал ксендз,—
знает язычник-мастер свое дело, все-таки знает.

— Вы понимаете, ваше преподобие, в чем именно дело. Те участки, которые поближе к деревне, мы выделили тем, у кого есть скот. Нельзя же дорогому в наше время скоту тратить время на дальние переезды. Свободной земли у нас достаточно, больше, чем нужно, но больно уж далеко от села. А кроме того—какая это земля... Один песок... Кто знает, согласится ли взять ее этот коммунист.

— Гм,—ответил ксендз, и в течение нескольких секунд он ничего больше не сказал. Затем очень тихо и задумчиво заговорил:

— Если хорошенько подумать, не каждый же день на долю деревни такое счастье выпадает, что она получает своего собственного коммуниста-земляка. Воистину великое счастье!

Куттнер смотрел на ксендза с удивлением. Вместо ответа он только закашлял. Но ксендз, повидимому, пока не ждал ответа.

— Очень, очень большое счастье,—повторял он.—Иметь своего коммуниста,—это все равно, что иметь золотые деньги. Для того, конечно, кто сумеет его оценить. Деревня получает в его лице своего заступника, а такого заступника нам давно уже не хватает. Дело в том, что городские люди плохо понимают наш деревенский народ. Кто бы к нам до сих пор из города ни приехал, не правда ли, все они только

и делали, что во всех делах Сельсовета искали какую-нибудь хитрость. Я не хочу этим сказать, что городские люди плохи... Они плохо понимают деревенский люд. В каждом мужике они видят кулака, а от каждого человека, которого они считают кулаком, они обязательно ждут одних пакостей. Напрасно ты им станешь говорить, что в этой деревне живут одни только бедняки, напрасно ты будешь их уверять, что здесь каждый искренний друг и сторонник Советов... и верят и не верят. Но коммунисты—это совсем другое дело. Они все говорят на одном языке. И если один из них, наш здешний коммунист, скажет городским, что, мол, здесь в нашей деревне все члены Совета до одного хорошие, бедные, честные люди, которые хорошо и честно ведут все деревенские дела и искренно поддерживают Советскую власть, как будто они сами коммунисты... Если он скажет, что здесь у нас нечего контролировать, нечего менять—если они все это услышат от здешнего коммуниста, который и для них является своим человеком,—тогда все будет в порядке. Раз ихний коммунист так говорит, значит, действительно правда, и городские коммунисты ему поверят, и все наши деревенские дела пойдут, как по маслу... Да, все-таки любит нас господь, что и нашей деревне послал, наконец, заступника.

Ксендз замолчал, а Куттнер ничего не сказал. Оба они спрятались, каждый в облаке дыма своей трубки. Ксендз стал прочищать свой чубук, а Куттнер медленно набивал свою трубку свежим табаком.

— У него, разумеется, есть свой скот,—заговорил, наконец, снова ксендз.

— Вши у него есть, а не рабочий скот,—ответил раздраженно Куттнер.

Хотя он и знал ксендза довольно хорошо, но на этот раз он никак не мог понять его слов.—Неужели дела этих коммунистов уже до такой степени пошли на лад, что даже этот решил перейти к ним?—думал он в недоумении.

— Если скота у него нет, он его достанет,—сказал ксендз таким тоном, как будто он читал какое-нибудь изречение из Писания.—Если у него нет денег, ему и в кредит дадут. Всякий знает, что он никуда не удерет, а раз он

коммунист, значит, и в долгу из-за каких-нибудь двух лошадей не останется. Если здесь в деревне он не достанет денег взаймы, то в городе достанет наверняка. В городе не мало таких умных спекулянтов, которые знают, что человеку не мешает иметь одного—двух коммунистов в числе своих друзей.

— Гм,—сказал Куттнер, старательно пожевывая мундштук.

— Но я надеюсь,—продолжал всендз,—что до этого дело не дойдет. Не допустят же мужики нашей деревни такого позора, чтобы их земляк принужден был обратиться к помощи чужих городских людей. Их родной брат, который столько лет провел на войне и, возвратившись с божьей помощью домой, ничего у себя, кроме пустой избы, не нашел. Если несовершенные земные законы, эти жалкие творения грешных людей, не заботятся о таком человеке, существует же другой, божеский закон, закон христианский, закон любви и справедливости, а этот закон требует от нас, чтобы мы поддержали его и помогли ему.

— Так, так...

— В день страшного суда господь тебя не спросит, был ли Вагнер коммунистом или не был, если ты ему ради Христа оказал помощь. В глазах господя всякое доброе деяние одинаково будет отмечено на весах справедливости.

— Это, пожалуй, верно,—ответил задумчиво Куттнер.

После этого они снова заговорили о погоде, и никто более не возвращался к вопросу о Вагнере.

На обратном пути Куттнер зашел ко всем членам Сельсовета и еще к некоторым из более состоятельных крестьян и пригласил их зайти к нему вечером на небольшое совещание.

IV

Рано утром Мартин отправился на пароходную пристань. Он рассчитывал, что ночной пароход прибудет на пристань около полудня.

Выйдя из деревни, он увидел хорошо обработанные поля. Они ожидали первого снега—защиты от близких морозов.

Кое-где виднелись озими. Но хорошо обработанных участков было немного. За ними тянулись плохо вспаханные поля бедняков, а дальше была степь. Далеко вокруг расстилалась бесконечная, унылая равнина. Ни одного дерева, ни одного куста, вокруг ни единого следа человеческих трудовых рук. Даже дорогу, ведущую через это беспредельное желтое море песка, можно было различить только на самом близком расстоянии. Теперь, поздней осенью, цвет увядшей редкой травы сливался с цветом песка. Мертвое однообразие природы, нигде ни одной запоминающейся точки, чтобы по ней найти дорогу. А далеко на горизонте мерещатся бесконечные воды, огромные озера и бушующие моря—обманчивая игра света, миражи, соблазняющие усталого путника своими сказочными пейзажами.

Пароход, как и рассчитывал Мартин, опоздал на добрых пять часов. Шел тихий дождь, который затем превратился в настоящий ливень. Но Мартин был уже на пароходе. Горизонт вокруг сразу стал свинцовым. Степь как бы исчезла. С парохода еле виднелись берега.

Было около трех часов, когда Мартин прибыл в Покровский партийный комитет. Товарища Эпштейна он застал одного, за работой, в маленькой комнатухе, единственное украшение которой был большой портрет Ленина. Портрет этот был написан крестьянским парнем из Донгашуровки, командированным партией в Московскую Художественную Школу.

Мартин подробно рассказал обо всем, что он видел и слышал в эти несколько дней. Товарищ Эпштейн спокойно выслушал его, не высказывая ни малейшего удивления.

— Было бы странно, товарищ,—сказал он,—если бы все это было не так. Мы просили наши центральные органы вернуть нам нескольких наших товарищей именно для того, чтобы разрушить эти осенние гнезда.

— Да, но есть ли у нас достаточно военных сил?—спросил его Мартин.

— На кой черт тут войска! Здесь и милиция вряд ли понадобится. Теперь беда не в том, что кулаки против Советов, а, наоборот, в том, что они слишком им подлюбились.

Едва ли не все деревенские дела в их руках. Впрочем, ты же сам это видел. Теперь кулак грабит бедняка от имени Сельсовета.

Мартин горько засмеялся.

— Выходит так, что теперь нам надо поднять восстание бедных мужиков против Совета!

— Пожалуй, почти что так. Беда только в том, что одним восстанием мы ничего не достигнем, потому что производительные силы тоже не последний вопрос. А в деревне производительные силы пока только в руках у кулаков. У бедняка не хватает ни рабочего скота, ни сельскохозяйственных орудий, ни смелости и желания стать на ноги.

— Дело плохо,—сказал Мартин.—Нельзя же надеяться на то, что мы сумеем снабдить орудиями восемьдесят миллионов крестьян. А что касается скота...

— К счастью, ни то, ни другое—невозможно,—перебил его Эпштейн. Я говорю сознательно, «к счастью», потому что если бы у нас каждый крестьянин был в состоянии вести самостоятельное мелкое хозяйство, то было бы совершенно невозможно привлечь их к коллективной работе. Они бы никогда не поняли, что важен не свой собственный плуг и собственная лошадь, а только то, чтобы им дал возможно больше их труд. Но, так как мы не можем удовлетворить каждого крестьянина машинами, именно благодаря этой невозможности создается стремление к коллективным формам хозяйства, и в скором времени они сами поймут, что их самое большое несчастье будет для них счастьем. И не думай, брат, что я это только вычитал из книг. Я сам изо дня в день убеждаюсь, что это именно так. Прямо не верится глазам, как быстро растет производственная кооперация. А там, где она сумеет пустить свои корни, там кулак неминуемо гибнет, так как он не может ни добыть себе работников, ни применить знаменитую систему захвата урожая бедняка, систему, при которой бедняк дает и свою землю, и свои семена, и свой труд, и все-таки получает только половину урожая, а львиная доля урожая идет в пользу кулака. Нам с тобой нечего особенно ломать голову. Твоя деревня—это особенно сильное кулачье

гнездо, там мы тоже должны приступить к делу именно с этой стороны. Лучше всего будет, если мы с тобой сейчас же пойдем в «Немецкий Банк» и добудем у них небольшой заем для производственного кооператива вашей деревни.

— Я даже не знал, что в нашем селе работает производственный кооператив,—с изумлением сказал Мартин.

— Пока еще не работает, но скоро будет работать. А создашь его ты.

Спец из банка встретил план Эпштейна очень недружелюбно, с каким-то нервным раздражением.

— Как же мне открыть кредит кооперативному обществу, которое еще не существует?—спросил он в недоумении.

— С другой стороны, как же нам создать сельскохозяйственный кооператив, если нет денег для покупки скота и машин?

— Позвольте, товарищ!—возмутился спец.—Но это же было бы самым обыкновенным мошенничеством, если бы мы отпустили деньги несуществующему кооперативу.

— Какое там мошенничество,—ответил спокойно Эпштейн.—Мошенничеством было бы уговаривать людей вступить в кооперативную организацию, которая неспособна работать, потому что у нее нет средств.

— Нет, это невозможно,—хотел было кончить разговор возмущенный «советский банкир».—Это против закона, это невозможно!

— Нужно, чтобы это было возможно, товарищ Когут,—сказал Эпштейн очень скромно, но очень определенно.—Это вполне возможно. Это желание партии.

Для беспартийного сердца Когута было весьма приятно сознание, что секретарь партийного комитета говорит с ним так прямо и искренно, совсем как бы с своим товарищем, что партия обращается к нему, беспартийному спецу, не приказывая, а выражая свое желание. Правда, он хорошо знал, что не удовлетворить такого желания нельзя, но для вида он все же решил еще немного поломаться.

— Я попаду в тюрьму,—сказал он, качая головой.—Плохо, очень плохо, что наши партийные товарищи так мало чутки к вопросам строго делового характера.

— Неужели так?—усмехнулся Эпштейн.— Ну, подождите, товарищ. Когда мы будем разбирать подробности, вы увидите, что и я кое-что понимаю в этих делах. Когда человек уже два года ведет партийную работу в провинции, как, например, я, он свободно разбирается во всем и одинаково понимает все деревенские дела, начиная с банковских и кончая рецептами для лечения больных лошадей.

Подробности соглашения были выработаны довольно быстро. Банк закупит для кооператива четыре пары лошадей и четыре сибирских коровы. На днях как раз собираются выехать агенты, которые должны закупить скот для двадцати семи кооперативов. Нужные машины тоже будут приобретены банком. Кроме того, банк предоставляет и небольшой денежный заем. Для начала это достаточно. Условия уплаты будут такие же, как и для всех других уже существующих кооперативных организаций.

Договор сейчас же был приготовлен и тут же подписан Мартином, а тов. Когут взял на себя обязательство позаботиться о том, чтобы со стороны банка были тоже выполнены все формальности, при условии, что к этому времени кооперативное общество будет организовано по закону. Он же, Когут, ручается, что все будет доставлено во-время, согласно договору. Конечно, он сам великолепно понимает, какое важное дело—кооперация. Таким делам нужно уделять особое внимание.

— Ну, кажется, мы совершили беззаконие,—сказал Мартин Эпштейну, когда они вышли на улицу.

— С формальной точки зрения, пожалуй...—ответил ему Эпштейн.— Но по существу мы делаем только то, что мы обязаны делать: насильственно вызываем к жизни лучшие времена. Впрочем, к тому времени, когда этот заем будет получен, наше общество будет организовано по закону. Если бы мы заключили договор после учреждения нашей организации, то наши люди не могли бы работать, им надоело бы ждать, и общество распалось бы раньше, чем прибыл бы скот. Ты увидишь, как быстро таким образом удастся поволобать почву под ногами кулаков.

— Будем надеяться. Но скажи мне: на какие средства,

собственно говоря, я буду жить? Последние копейки я истратил на пароходный билет.

— Это неприятно. Но как-нибудь мы устроимся. Быть может... Да... Ты получишь небольшую помощь от партии. Это, конечно, ты должен будешь вернуть сейчас же, как только начнешь зарабатывать. А начиная с весны, когда кооператив будет уже работать, у тебя будет столько заработка, сколько нужно для пропитания. К осени, если ты справишься со своим делом, ты будешь председателем Сельсовета,—а, быть может, и председателем кантона. Во всем кантоне, кроме тебя, только семь коммунистов.

Был вечер. Дневной пароход уже отошел.

— Я должен переночевать здесь,—сказал Мартин. Но не беда. У меня есть еще небольшое дело в суде.

— Очень хорошо, по крайней мере, ты можешь послушать интересную лекцию,—сказал Эпштейн.

Лекцию читал специалист-агроном в здании театра, специально для членов партии. Он работал здесь уже несколько месяцев, собирая, по поручению Наркомзема, данные о климатических, почвенных и других условиях немецких колоний Поволжья. Наркомат не прочь был немного вмешаться в дела природы, так как она относилась к немецким колонистам не особенно дружелюбно, можно даже сказать: враждебно. И никакие крестные ходы и царские указы в течение многих десятилетий на нее не действовали.

Впрочем, и тот, кто выслушал лекцию агронома, не питал особой надежды на то, что Наркомат окажется сильнее природы.—Неурожай,—заявил докладчик,—неурожай, являющийся бедствием для населения, наблюдался во второй половине прошлого столетия, и теперь будет временами повторяться и, притом, через довольно короткие промежутки. Нет лесов, которые бы задерживали движение песка, а песок убивает всякую растительность. Лес мы могли бы завести лишь в том случае, если бы мы имели достаточно воды. А воду мы будем иметь только тогда, когда будет прорыт канал.

После этого докладчик прочитал массу цифр. Эти цифры доказывали, что постройка канала и содержание его в по-

рядке в этой песчаной местности потребовали бы таких затрат, которые не оправдались бы улучшением почвы.

— Наблюдения, произведенные нами в этой местности, все же нельзя считать напрасными,—оканчивал свою лекцию агроном.—Теперь, по крайней мере, правительство будет знать, что всякие попытки напрасны, и если оно не в состоянии улучшить почву, то, по крайней мере, оно сумеет сберечь те деньги, которые оно намеревалось потратить на эти бесцельные попытки.

Лекция закончилась поздно ночью. Прения пришлось отложить на другой вечер. Мартин остался ночевать у тов. Эпштейна.

Эпштейн жил в маленькой комнатке с одним окном, за хлебными амбарами, у самой Волги. В комнате стоял стол, два стула, большой книжный шкаф и узкая железная кровать. Мартин лег на кровать, Эпштейн же сделал себе постель на полу из двух шинелей и солдатского одеяла. Лампу они сразу потушили, но беседовали еще долго.

— Надеюсь, ты не поверил этому спецу?—спросил Мартин.

— Почему же нет? Поверил,—ответил Эпштейн.—Он, по всей вероятности, во всем совершенно прав, кроме своих вонечных выводов. Старик этот прекрасный спец. Он все исследовал, все измерил, честь-честью, как ему было поручено. И не его вина, если разрешение вопроса лежит вне пределов его мандата. Человек, которому поручено исследование одной только этой маленькой немецкой колонии, конечно, не может и думать о Донско-Уральско-Волжском канале. Если другому спецу задать вопрос: настало ли время с точки зрения интересов транспортного дела построить такой большой канал, тот, в свою очередь, не будет считаться с интересами земледелия. Из-за нас, конечно, такой канал строить не станут. В этом наш спец совершенно прав. Но как только хозяйственная жизнь Советской России наладится и окрепнет, в этом канале нуждаться будет вся страна. И тогда этот канал проведут через наши земли.

— И если мы к этому времени сумеем поколебать почву под ногами кулака...

— Да,—перебил Мартина Эпштейн.—Если нам удастся создать советскую деревню, тогда мы будем иметь канал и одни только хорошие урожаи. Россия, в которой бедствует деревня, не способна строить каналы. Но Россия, в которой бедняк своим коллективным трудом добьется расцвета деревни, не сможет обойтись без каналов. Ты понимаешь теперь в чем дело? Если ты пошатнешь кулака, тем самым ты ударишь и по засухе. Этого, конечно, никакой спец понять не может. Для этого нужно быть не спецом, а коммунистом.

После этого Мартин должен был рассказать Эпштейну о Москве, где Эпштейн был в последний раз, возвращаясь с польского фронта. И Мартин рассказал, но не о важных, существенных изменениях. Эти изменения были Эпштейну и без него хорошо известны. Эпштейн заставил Мартина говорить о мелочах. Его интересовал всякий мельчайший пустяк. Как выглядят вновь выстроенные дома? Как удалось восстановить порядок и чистоту на улицах? Он задавал десятки таких вопросов.

Мартин охотно отвечал на все, и временами Эпштейн громко смеялся от удовольствия.

— Москва! Красная Москва!

Затем очередь была снова за Эпштейном. Мартин, хотя и был крестьянином, мало знал о попытках применения работы тракторов. Эпштейн же, который до войны ни разу не видел деревни, знал о них очень подробно. Их можно использовать и при пахоте, и при посеве, и при жатве и при молотье. Сегодня ты при его помощи молотишь, завтра ты едешь на нем. Все лицо деревни изменится, как только нищета заставит крестьян перейти к коллективному труду, а коллективная работа, в свою очередь, сделает возможным применение тракторов. А если в деревне будет потребность в тракторах, мы принуждены будем строить много фабрик... Эх, брат, какие чудеса мы могли бы увидеть, если бы только мы могли очутиться на «ковре Степана»!..

Эпштейн рисовал увлекательные картины будущего, Мартин, радостно усмехаясь, выслушивал своего товарища. А «ковра Степана» особенно обрадовал его. Еще ребенком

он много слышал о том сказочном ковре, потому что его мать очень гордилась тем, что она происходила из той деревни, которая была выстроена как раз у подножья «Утеса Степана Разина». На этом холме, который мужики из уважения к прошлому окрестили «горой», до сих пор можно видеть пещеру, где два с половиной века назад жил легендарный герой Степан Разин, которого в этой деревне до сих пор еще с любовью называют «наш Степан».

Укладывая детей спать, фрау Вагнер часто рассказывала им чудесные сказки о «ковре Степана». В этом ковре была чудесная сила Степана, с которой не могли справиться ни бояре, ни попы. Стоило ему только стать на этот знаменитый ковер—и он улетал, куда хотел, через горы и реки, минуя все преграды. Маленькие дети Вагнера всегда очень увлекались знаменитым ковром. Через свою мать, которая родилась в деревне Степана Разина, они как бы были близки великому Степану и его чудесному коврику.

V

Во сне Мартин снова был красноармейцем.

Красная конница стояла за березовым лесом. Издали была слышна сильная артиллерийская канонада. Гранаты летели над головами всадников, падали на расстоянии нескольких сот метров и, зарываясь в землю, взрывались.

Буденный обнажил свою саблю и отдал приказ об атаке.

Березовый лес вдруг раскрылся, чтобы принять красных кавалеристов. С обеих сторон катились огромные ярко-красные танки, состязаясь в беге с беснующимися конями. На поднятых вверх пиках реяло множество красных значков.

— Ура!..

Товарищ Эпштейн доложил Буденному, что враг отступает на ту сторону канала, наша конница не может его преследовать.

Когут разостлал на земле громадный красный ковер, и Буденный дал Мартину знак стать на ковер. Лошадь Мартина испугалась и не слушалась всадника. Мартин с силой дал ей шпоры и очутился на ковре.

— Вперед,—скомандовал Буденый и ковер стал подниматься в воздух. Дул сильный ветер и громко свистел в уши Мартину.

Внизу на полях работали тракторы. На обоих берегах канала—беспредельное море высоких золотых колосьев. По каналу плыли большие пароходы с красными знаменами. На берегу, рядом с украшенным цветами трактором, быстро бежал верблюд.

В поле, среди хлебов, огромные ярко-красные цветы. Мартин наклонился вниз, чтобы сорвать один из самых красивых цветков, и громко засмеялся. То, что он принял за цветы, были веселые, красивые женщины в красных платках...

Ранним утром Эпштейн разбудил Мартина. Партийному работнику не полагается долго спать. Утренний чай не заставил себя ждать.

— Тебе приснился хороший сон,—сказал, усмехаясь, Эпштейн.—Несколько раз ты громко смеялся во сне.

За ночь поднялся резкий северный ветер и угнал на юг дождевые облака. Похолодел воздух. Было прозрачно-голубое небо, как в июне.

Мартин пошел в суд, чтобы поговорить по делу о доме Анны Губер. Судья обещал, что делу скоро дадут ход.

На этот раз пароход снова опаздывал. Он продвигался с трудом вверх по течению против сильного северного ветра. Под вечер, когда Мартин вышел на берег, ветер превратился в настоящую бурю. Яростное ледяное дыхание веяло над сырой песчаной стеной.

Была уже поздняя ночь, когда Мартин вернулся в деревню, но все население было еще на ногах. Люди собирались маленькими группами и тревожно рассматривали ясное звездное небо. По желанию Сельсовета ксендз велел звонить в костеле. Члены секты «Братство молящихся» собрались около пустого амбара дома Гефеле и с обнаженными головами пели свои псалмы.

Мартину тоже не хотелось спать. Он вышел на улицу

и, содрогаясь от холода, смотрел на разыгрывающееся перед его глазами печальное зрелище. Он знал, что если только не совершится чудо, то к утру почва полей замерзнет, как камень, и северный ветер унесет с собой, как сухой песок, результаты тяжелых осенних работ. Небо было ослепительно ясным. И если бы появились облака, то их разогнал бы жестокий ветер. Мартин знал, что никакого чуда не будет.

Буря не унималась и свирепствовала всю ночь, срывая крыши с ветхих домов. На рассвете «Братство молящихся» под предводительством «братца» старейшины вышли на поля, громко распевая псалмы и все еще надеясь на чудо.

Замерзшие, оцепеневшие от холода, с опущенными головами, они молча возвращались в деревню.

VI

Первым человеком, который посетил Мартина, был Карл Шмидт. У него было бледное, исхудалое лицо, ноги вместо обуви были обернуты в рваные, старые мешки, на нем были длинные брюки на выпуск и рубашка грубого солдатского сукна. Шея была перевязана большим красным платком.

— Я пришел к тебе по делу,—начал Шмидт.

— Насчет твоего дома?—спросил Мартин.

Шмидт отмахнулся.

— Насчет дома! Ну его к чорту, этот дом... Кто теперь может думать о доме? Я насчет детей. Столько у меня с этими двумя ребятами забот и хлопот. Может быть, ты мне поможешь.

— Пожалуйста, если только могу,—ответил Мартин.— В чем же, собственно говоря, дело?

— Я говорю о моих ребятишках. Дело, видишь ли, вот в чем... Бедность не порок, что же тут особенного,— мои ребятишки уже десятый месяц ходят по миру в Саратове. Живут же в Саратове добрые люди,—господь их благослови... Дети мои, особенно младший, Иосиф, уж очень хорошо наловчились в этом деле. Впрочем, и другой тоже ничего. Ну-с, теперь приходит ко мне этот проклятый Кут-

тнер и говорит, что так-как я, мол, иду за коммунистами, то детей моих, говорит он, прикажет взять в детский приют. Боже ты мой милостивый! Невинных детей он хочет таким образом наказать за грехи отца.

Сначала у Мартина было сильное желание выгнать своего гостя за дверь. Но сейчас же он пересилил свое возмущение и начал спокойно раз'яснить.

— В данном случае Куттнер совершенно прав. Дети должны учиться, а не ходить по миру. Разве это будет для них наказанием, если их пошлют в приют? Иди лучше и поблагодари Куттнера за то, что он хочет взять на себя то, что должен был сделать ты сам. Ведь только твоя вина, что это раньше не сделано; ты сам должен бы был хлопотать о том, чтобы твои дети были приняты в приют или, по крайней мере, в школу.

— В школу?—спросил Шмидт, с широко раскрытыми глазами.—Ты, повидимому, тоже насмехаешься над нами, бедными людьми. Как же мне посылать детей в школу, когда уже третий год никакой школы в деревне нет? А приют этот, должно быть, очень северное место, потому что Куттнер, как только он с кем-нибудь поссорится, сразу начинает ему грозить, что заберет его детей в приют. Меня он хочет теперь лишить моих маленьких работников за то, что я ему сказал, что на будущий год мы выберем в Совет Мартина Вагнера. Да, я это сказал,—продолжал он сильно повышенным голосом,—и ты можешь быть уверен, что я сдержу свое слово. Ну, вот я и думал,—сказал он, опять понижая голос,—раз на будущий год ты будешь нашим председателем, и раз вообще коммунисты друзья нашей бедной братьи, значит, если я тебя попрошу, ты мне и поможешь... Ты достанешь какую-нибудь бумажонку от городских товарищей для моих детишек, чтобы ни Куттнер, ни милиционеры не могли забрать этих несчастных бедняг и отправить в приют.

— Выходит, что ты живешь на ту милостыню, которую собирают твои дети?

— Признаться сказать, почти что так. Но я в этом не виноват. Я бы охотнее жил тем, что дает земля, но что же

она дает, эта земля? Соберешь урожай на весь год, а хорошо, если на месяц хватит. И земля-то наша, сам знаешь, какая земля... Кроме того, я получаю всего одну треть того, что она принесет, а из этого еще я должен отдать семена и платить за уборку. Везить надо за четыре версты. Ей-богу, лучше бы было не иметь никакой земли, а просто наниматься на работу.

— Видишь, это ты как раз дело сказал. Если ты серьезно хочешь работать, ты можешь заработать столько, сколько тебе нужно, а детишки твои смогут спокойно учиться. В скором времени мы организуем здесь производственный кооператив, привезем скот, и все, кто будет с нами работать, будут сыты. Весной наш кооператив получит восемь лошадей, четырех коров, двух верблюдов, орудия и остальное самое необходимое.

Шмидт не понял, в чем дело. В первую минуту он подумал, что тот самый слух, который он сам пустил об обещанных ему двух лошадях, теперь возвращается к нему в несколько выросшем виде—из двух лошадей выросло целое хозяйство—как это всегда бывает с такими слухами. Но потом он вспомнил, что дело имеет с Мартином, который знает, что говорит; кроме того, от городского коммуниста, пожалуй, можно ожидать все, что угодно. Он даже способен устроить так, что и деревня действительно получит скот. С большим почтением, но вместе с тем с некоторым недоверием, смотрел он Мартину в лицо.

— Восемь лошадей и четыре коровы—так, ты, кажется, сказал?

— Именно, так. Вот, смотри, я привез из Покровска книжки. Здесь написано о кооперативах, написано умными, понимающими людьми. Хочешь, я тебе дам одну из них? Прочтешь и все узнаешь.

Шмидт смущенно взял из руки Мартина маленькую книжонку. Посмотрел обложку, бережливо перевернул ее, посмотрел обратную сторону обложки, держа книжку все время на почтительном расстоянии от себя, как будто опасаясь заразиться, наконец, вернул ее Мартину.

— Знаешь, что: я уж лучше посмотрю скот. В нем

я кое-что понимаю, а что касается букв, то от них я уже отвык и давно разучился читать. Кроме того, из книг, видишь ли ты, трудно узнать правду. Я уж лучше потом посмотрю самый скот. Весной, ты говоришь?

— Да, перед весенним посевом.

Когда Шмидт ушел, Мартин принялся за работу. В доме и во дворе много работы. Но ему не давали спокойно работать, чуть ли не каждую минуту приходили к нему земляки, и он должен был бросать работу. Весть о лошадях и коровах Мартина распространилась по деревне с быстротой молнии. Но Шмидт немного, конечно, прибавил, потому что одни уже говорили о том, что весной каждый безлошадный крестьянин получит лошадь и корову, такова теперь новая политика большевиков. Другие же распространяли такую версию, что каждый получит столько голов скота, сколько он отдаст детей в советский приют. Мартин с величайшим терпением всем раз'яснял, в чем дело, и раздавал привезенную им литературу. Объяснения его мужики не особенно понимали, брошюр же они не читали. Но, тем не менее, все они определенно отнеслись к этому делу. Одни уходили от Мартина разочарованные и говорили, что мало толку в словах и обещаниях, другие же решили, что, наконец, настало изобилие, о котором всегда говорили большевики.

Трактира в деревне не было, его закрыли большевики. Люди собирались на улице группами и оживленно обсуждали важные события деревенской жизни: ужасное несчастье, причиненное морозом, и новое счастье, которое принесут деревне лошади Мартина. Настроение масс менялось, впадая в крайности. Некоторые видели будущее в розовом свете, другие в мрачных красках. Таких было, конечно, значительно больше, так как мороз и гибель озимей были фактом, а лошадей Мартина никто еще не видел. Поэтому большинство не возражало меньшинству, которое, подражая Мартину, бранило кулаков. В то же время большинство не решалось высказать открыто свою злобу к кулакам.

Павел Куттнер знал обо всех делах Мартина. Ему было

хорошо известно, как именно слова Мартина воспринимаются селянами. В первые два дня он спокойно наблюдал, выжидая удобного случая для вмешательства. Пусть все идет своим чередом. Но на третий день он потерял свое хладнокровие. Дело в том, что в этот злополучный день приехал из Покровска народный судья и после короткого судебного заседания вынес постановление, по которому Павел Куттнер обязывался в трехдневный срок возвратить жене Франца Губера купленный у нее во время голода дом. Потеря была, собственно говоря, не особенно велика,—пустых домов в деревне было больше, чем достаточно, а комиссией, которая распоряжалась этими домами, руководил Ганс Мюллер. Нужно иметь в виду, что жена Мюллера была сестрой Куттнера, и можно не сомневаться в том, что он мог выбрать для себя любой из всех свободных домов. Но какой позор! Нет, этого Павел Куттнер не забудет Мартину Вагнеру, и если бы даже он когда-нибудь забыл, то коммунисты в долгу у его жены Ольги Гефеле, она-то им не забудет.

Куттнер пригласил к себе на совещание двенадцать самых богатых крестьян, деревни.

С этими двенадцатью кулаками, наиболее состоятельными хозяевами всей деревни, он совещался в течение целых трех часов четыре дня назад, когда по совету ксендза решил подкупить Мартина. Тогда он объяснял им, какую огромную опасность для деревни означает возвращение Мартина. На эту тему не нужно было тратить много слов, эту опасность прекрасно понимали сами кулаки. Затем Куттнер им доказал, какая польза получится для деревни, если под постановлениями Сельсовета будет и подпись коммуниста. И ксендз так думает, и здравый смысл говорит, что нужно оказать Мартину помощь. Пусть нажрется, сволочь: сытая собака не кусается.

Кулаки во всем согласились с Куттнером.

— Значит, давайте поделим между собой цену двух лошадей и одной коровы. Будет общий расход и общая выгода.

Предложение было встречено глубоким молчанием.

— Ну, так как же? — предложил им высказаться Куттнер.

— Не нужно торопиться, — ответил Майер, второй из самых богатых крестьян деревни (первый был Куттнер), Майер, который все еще был немного обижен за то, что его не выбрали в Совет. — Все хорошо во-время, — говорил он, поднимая высоко вверх указательный палец. — Если мы получим уверенность, что жертва наша не будет напрасна, тогда — чорт с ним. Но просто так, на авось, — я лично не дам ни одной копейки.

Остальные согласились с его словами так же, как две минуты до этого соглашались со словами Куттнера.

Тогда Куттнер снова более подробно разъяснил им свой план. Принципиально все они и сейчас признали этот план правильным. «Конечно, конечно». Только денег никто не хотел дать. Потому что, в свою очередь, ведь прав и Майер: нельзя же знать результат непрошенного подарка. А если Вагнер подумает, что у них все в изобилии, и в дальнейшем будет вымогать у них подарки? Кроме того, вообще с этими коммунистами ни в чем нельзя быть уверенным. Лучше всего немножко подождать.

— Вините сами себя, если этот человек натравит всю деревню на нас, — сказал раздраженно Куттнер.

Но кулаки спокойно пожимали плечами.

— Не так уж легко нынче натравить деревню. Каждый рад, если дадут ему споконно жить, а не то, чтобы затеять драку.

— Неужели целую деревню может напугать один человек, будь он сто раз коммунистом?

После приговора народного судьи Куттнер вторично созвал совещание этих двенадцати кулаков. Некоторые из них в эти два дня посетили ксендза. Они уже наполовину соглашались с планом Куттнера. Других же раздражало и немного беспокоило происходящее в деревне волнение. Нельзя было отрицать, что внимание всей деревни было обращено на Мартина. Неужели эти оборванцы на самом деле думают, что мало было всяких революций? Так или иначе, но все кулаки пришли все-таки к такому убеждению:

Шут с ним. Все-таки лучше купить этих двух несчастных лошадей, только, чтобы все осталось по-старому.

— Нет, — ответил им теперь Куттнер. — Нет, — повторил он громко и зловеще ударив кулаком по столу. — Теперь мы уже должны показать ему, что мы сильнее.

После слов Куттнера наступило короткое молчание. Это молчание и темная одежда всех участников — все они были одеты в черное или темно-синее — придали собранию особенно серьезный вид. Все они наклонились вперед и задумались.

— Он работает своими книгами, — нарушил, наконец, молчание Мюллер. — Ха-ха-ха. Никогда я еще не слышал, чтобы книгу можно было запрягать в плуг.

— Да, но он обещает лошадей, — возразил Майер.

— На его лошадях далеко не уедешь...

— Коммунисты умеют только отнимать лошадей у деревни, а вместо лошадей дают книжки.

— Грабители.

Куттнер опрокинул свой стул, выставил грудь, грозя кулаком невидимому врагу далеко за стенами, в степи. Лицо его стало багрово-красным от ярости. Его дикое бешенство заразило остальных, и через мгновение все были на ногах.

Насколько трудно было уговорить их начать переговоры с коммунистами, настолько же было легко возбудить их ярость. Теперь речь шла уже не о цене двух лошадей и даже не об означавшем непосредственную опасность Мартине Вагнере. Это был взрыв гнева и злобы, которые они должны были подавлять в себе в течение нескольких лет, пока они покорялись коммунистам, коммунистам, которых они — если бы могли — охотно разрезали на куски, так же, как и тех три года назад во дворе дома Гефеле. Это был взрыв ненависти и злобы, накопившихся у них за два года, которые они принуждены были скрывать, будто бы примирившись с советской властью. Первое искреннее слово вызвало все подавленные чувства из кулацких сердец этой маленькой группы хищников. Все они с багровыми лицами размахивали руками, ревели, бесновались.

Жена Куттнера, Ольга Гефеле, которая до этого молча слушала беседу мужчин, теперь заговорила острым, шипящим голосом:

— Все вы только болтуны! В Дорндорфе мужики убили одного батрака за то, что он писал в покровскую газету. Но у нас им все сходит с рук: это потому, что вы умеете только болтать.

В комнате сразу все утихло. Мужики замолкли, сели и в глупом недоумении оглядывались вокруг, как будто проснувшись от глубокого сна. Бешенство уступило место страху. Они хорошо знали, что если в деревне нет полицейских, как в добрые царские времена, то в шести часах отсюда, в Покровске, стоит взвод красноармейцев из войск ГПУ.

Куттнер схватил свою жену за плечи и вытолкал ее из комнаты. Когда дверь за ней захлопнулась, он снова заговорил:

— Будьте спокойны, я не думаю ни о каких глупостях. Всем вам великолепно известно, что я хорошо знаю и уважаю законы и никогда не сделаю ничего такого, что ими запрещено. И теперь мы собрались здесь для того, чтобы посоветоваться, как именно мы должны поступать, что мы должны делать согласно нашим законам, потому что наша обязанность защищать интересы нашей деревни всеми законными средствами.

Мужики оглянулись друг на друга. Один из них кивнул головой, а за ними все остальные кивнули в знак согласия. Куттнер не отпускал своих гостей, пока они не сговорились по всем вопросам.

VII

Три дня и три ночи шел сильный снег. На четвертый день все облака унес на юг северный ветер, затем ветер улегся, и был покой над вымерзшей снежной пустыней.

В другие годы снег и мороз означали для деревни мир. Если и не было особенно сытно и тепло, все же зима приносила некоторый отдых. Но в этом году, вместо привычной сонной зимы, людьми овладело странное беспокойство, на-

дежда и страх—какие-то незнакомые им до этого, необычайные чувства.

На следующий день после того, как улегся ветер, Куттнер переселился в отведенный ему комиссией дом. Дом этот был не на много меньше и не на много хуже прежнего, но все же было заметно, что в течение двух лет он был необитаем. Переселение шло быстро и легко. Чуть ли не вся деревня пришла помогать Куттнеру. Все хотели видеть: как Куттнер перенесет свой позор. Но никакого особого зрелища Куттнер им не доставил, хотя он и одел для этого случая свой праздничный костюм. Работой он себя особенно не затруднял—и не выпускал трубку изо рта все время, пока шло переселение.

Когда же он вывел из конюшни лошадей, он даже пошутил.

— Как вы думаете,—спросил он, улыбаясь, у своих помощников,—сколько книжонек этот коммунист сунет сюда в стойло вместо лошади?

Но жена его была менее спокойна. Сначала она поссорилась с мужем, а затем разругалась с женой Майера, которая пришла помогать со всеми своими домочадцами, как будто нужно было переселять всю деревню. А когда Куттнер во всеуслышание крикнул на нее, чтобы она опомнилась, Ольга Гефеле не выдержала и громко зарыдала.

Многочисленные зрители торжественного происшествия громко и оживленно рассуждали о том, следует ли так ни с того, ни с сего раскапывать старые, всеми давно забытые дела.

— Таких вещей, конечно, делать не следует,—уверяли друзья куттнеровского дома.—Разве можно хотя бы на минутку сравнивать такого трезвого, трудолюбивого и религиозного человека, как Куттнер, с этой старухой?

— Это такая же мудрость, как их желание пахать землю книгами,—сказал Мюллер.

И вскоре стало ясно, что эти разговоры имели результат. Гибель осеннего посева поставила еще острее вопрос о весеннем: кому весной не удастся обработать свою землю, тот на весь будущий год останется без куска хлеба. Как бы

ни были заманчивы обещания Мартина,—люди уже горьким опытом научились тому, что верить можно только своим глазам. Кулаки быстро сообразили, что осенние морозы поработали в их пользу. Они не замедлили использовать свое положение.

Куттнер не терял времени даром.

— У нас в деревне не хватит рабочего скота,—заявил он,—чтобы обработать всю землю. Тот, кто желает обработать свой участок на старых условиях, должен заявить об этом сейчас. Весной мы за эту работу не возьмемся.

Кулаки стояли за Куттнера все, как один человек, и громко одобряли каждое его слово. Не может быть сомнения в том, что для того, кто не заключит сейчас трудового договора, никто не станет пахать землю весной. Это была угроза голодной смертью, и в таких серьезных вопросах каждый человек боится рисковать. Бедняки друг за другом пришли и постучались к Куттнеру, чтобы заключить договор. Прежде чем подписать договор, они должны были притти к соглашению с Куттнером по целому ряду вопросов. Но даже, если это полное соглашение и состоялось, они и в дальнейшем должны были быть крайне предусмотрительны, чтобы не вызвать гнев кулаков.

Но и Мартин в это время действовал. И он неустанно вел переговоры, объяснял, учил и организовывал. Он сразу понял, что кулаки сильнее его. В то же время ясно сознавал, что это превосходство их сил продолжится лишь до того времени, пока он сможет дать хотя бы малейшее доказательство того, что существуют и другие силы, кроме кулацких лошадей. Деревенская беднота легко понимала, что кулак эксплуатирует ее, но зато ей никак не верилось, чтобы возможно было изменить это положение. Год ужасающего голода был еще у всех в памяти, и все боялись нового голодного года.

— Горе нам, если хозяева скота не помогут нам запахать землю...

Жившие в деревне двое вдов убитых коммунистов были лучшими помощницами Мартина.

Одна из них—жена убитого Иосифа Геффера—все время

хворала со времени той самой ужасной ночи, когда кулаки на ее глазах замучили на смерть ее мужа и брата. Но с тех пор, что Мартин приехал, она как будто совсем выздоровела и могла уже работать почти так же, как и фрау Леман. Мария Леман была еще молодой женщиной. После смерти мужа она провела год в Марксштадте, где она работала на махорочной фабрике. Там она ежедневно читала газеты и часто ходила на всякие собрания. Когда же она вернулась в деревню, она носила уже красный платок, как городские работницы. С Мартином она разговаривала обо всяких делах так, как если бы она тоже была партийной. С тех пор, как Анна Губер поселилась в своем старом доме, для Мартина готовила Мария Леман.

Обе вдовы коммунистов, особенно Мария Леман, очень старались перекинуть мост между деревенскими мужиками и Мартином. Но задача эта была не из легких, потому что Мартин очень скоро убедился в том, что в своей собственной деревне, где он родился и жил, он является теперь совершенно чужим человеком. В городе, в школе и в Красной армии, особенно в своей работе в ячейке, Мартин многому научился, что касалось деревенской жизни, но что было совершенно неизвестно самим жителям деревни. Из города он привез с собой те цели, к которым должна стремиться деревенская беднота, если она хочет избавиться от нищеты. Что именно нужно делать в деревне, Мартин знал не потому, что он происходил из крестьян, а потому, что он учился в городе. Его деревенское происхождение, конечно, значительно облегчило для него понимание сельского населения. Но долго еще являлось для него большим препятствием то обстоятельство, что он считал само собой понятными много таких вещей, которые для его односельчан были совершенно непонятны и неизвестны. Перед Мартином стоял уже только вопрос о средствах—и этот вопрос уже стал для него постепенно проясняться—в то время, как для других была еще неизвестна даже их конечная цель. Вернее, они и не додумались еще до того, что им нужно стремиться к какой-нибудь цели. В глазах деревенской массы нищета была

просто несчастием, наказанием бога или результатом большевистского безбожия.

С помощью двух своих помощниц Мартину удалось сговориться с четырнадцатью бедняками. В числе этих четырнадцати было два-три таких, которые шли за ним потому, что скорее чувствовали, чем сознавали, что его путь правилен. Особенно один из них, недавно вернувшийся из Маркштадта—Ганс Вильнер, говорил совсем как человек, который знает, что делает. Но большинство их шли за Марином только из необходимости, только потому, что их земли были до того плохи, что при кулацких условиях обработки они не принесли бы им самого необходимого. Другие шли за Марином потому, что они окончательно испортили отношения с кем-нибудь из богатеев и боялись, что весной никто из кулаков помогать им не будет.

Таким образом был создан кооператив.

По вечерам Мартин собирал их всех у себя и проводил с ними систематические занятия. Он открыл толстую книгу «Азбуку коммунизма» и стал им объяснять то, что написано в этой книге. Он сознавал, что все сказанное—это есть важная, для всех и для каждого понятная правда, и все же он очень скоро должен был заметить, что его слушатели ничего в этом не понимают и даже не стараются понять. То, о чем Мартин говорил, их не интересовало. Для них не существовало связи между событиями. И не раз ему пришлось с отчаянием видеть, что, пока он всю душу изливает в этих раз'яснениях, тот или другой из его слушателей сладко дремал в приятной теплоте избы.

Когда стемнело, Мартин прекратил свою речь и спросил у них, не желают ли задавать ему вопросы. В первые два дня никто ничего не спрашивал, на третий день к концу беседы вызвался Карл Шмидт, который до этого тихо дремал у открытой печки. На этот раз он всстал и сказал:

— Я бы хотел спросить об одной вещи, Мартин, которой я никак не пойму из твоих слов.

— Ну, спроси. Надеюсь, что сумею ответить.

— Ну-с, я хочу у тебя спросить, Мартин, почему ты так уверен в том, что городские коммунисты купят нам этих

лошадей, а, может быть, они только обещают, а потом падают нас? Мало ли на свете нечестных людей.

На улице было уже совсем темно. Слабое пламя в потухающей открытой печи освещало присутствующих в комнате своим бледным светом. Мужики сидели кругом на стульях, на столе и на кровати уже несколько часов без всякого движения. Они не развязали даже своих платков на шеях и устали от скучного для них занятия. Теперь все, как будто по команде, наклонились вперед и взволнованно ждали ответа. Глаза ярко заблестели на обращенных к Мартину полусвещенных лицах.

Мартин понял, что теперь настал момент для окончательного и полного разъяснения и освещения его планов, к которому до этого эти люди присоединялись, не понимая его, надеясь на что-то им неизвестное и беспокоясь за свою судьбу. Присоединялись не из убеждения, а потому, что не было выхода.

Медленно выговаривая каждое слово, начал Мартин свою речь. Сначала он говорил о лошадях, без которых нельзя работать и которых в деревне пока нет. Лошади эти будут доставлены для деревни городскими товарищами. Только от городских товарищей бедное деревенское население может получить совет и помощь. Он объяснил им, почему и как именно городская и деревенская беднота должны и могут сотрудничать друг с другом. Снова и снова возвращаясь к ожидаемым из города лошадям, он разъяснял им, что городские рабочие, даже если бы они этого и захотели, не могут обмануть и предать деревенскую бедноту, хотя бы потому, что рабочие только тогда могут быть совсем уверены в окончательной победе революции, когда новая деревня будет создана деревенской беднотой.

Мартин говорил, говорил долго, и мужики, наклонившись вперед, неподвижно и с задержанным дыханием слушали каждое его слово. Временами слышен был глубокий вздох—кто-то понял какую-то мысль и успокоился.

Была уже глубокая ночь, когда мужики возвращались к себе домой.

Мartiном был выигран первый бой. На другой день после обеда в кооператив записалось семь новых членов.

Более многочисленными, чем собрания у Мартина, были вечерние собрания в доме Анны Губер. Когда Кутниер, по постановлению суда, возвратил Анне Губер дом, у Анны не было никакой мебели для трех комнат ее дома. Мартин дал ей тюфяк. Все три комнаты были совершенно пусты. Нельзя было выдумать лучшего места для собраний, а в помещении для собраний нуждалась новая секта, та часть «Братства молящихся», которая вышла из старой общины.

Секта «Братство молящихся» распалась в связи с осенними бедствиями. Секта эта образовалась тогда, когда люди убедились, что никакая работа не может их спасти от нищеты. Именно тогда Валдман, одноглазый портной, стал проповедывать новую религию: молитва вместо работы. Ксендз, который до этого времени с презрением относился ко всем лютеранам, считая их почти язычниками, теперь часто с ними беседовал. Говорил он, главным образом, о «Братстве молящихся». Валдмана, который провозгласил себя «старейшиной братства», ксендз называл сумасшедшим и мерзавцем. Из лютеранского населения многие прислушивались к речам одноглазого портного, по вечерам чуть ли не сотня людей присутствовала на его проповедях, которые он произносил во дворе сгоревшего дома Гефеле. Большинство «Братства молящихся» составляли женщины, и это было понятно, если вспомнить, что после войны и революций женщин в деревне осталось чуть ли не вдвое больше, чем мужчин.

— Разве не молитва передвигала горы и обращала назад течение рек?—проповедывал Валдман, и люди часами молились вместе с ним, умоляя «всемогущего» бога послать им рабочий скот и орудия.

Но бог, повидимому, никак не хотел услышать их молитву, вместо орудий и скота он послал им морозы и еще более тяжелые испытания. Тогда в деревне появился новый пророк—Яков Бауер.

Прошлым летом Бауер работал на том берегу среди

русских мужиков. Он говорил, что те уже поняли истинную волю господню и теперь послали его сюда, к немцам, чтобы и здесь просвещать людей. Когда Валдман узнал, что Бауер тоже именуется «старейшиной братства», он однажды на улице бросился на Бауера. Но из «Братства молящихся» многие разделяли учение Бауера и приняли новую религию. В их числе была и Анна Губер. Ее дом Бауер назначил молитвенным домом.

Они разобрали конюшню, сделали из ее стен скамейки и поставили их в пустые комнаты. Здесь собирались по вечерам последователи Бауера—«пляшущие братья». Их было орок четыре человека—семь мужчин и тридцать семь женщин. Входя в свой «храм», они все целовали друг друга в губы. Если кто из них опаздывал, то обязан был проходить по всем скамьям и целовать всех присутствующих.

Сначала брат Бауер читал какую-нибудь главу из библии, затем закрывал книгу, целовал ближайшего брата или сестру в губы и начинал свою проповедь.

— Иезекииль был лже-пророком. Он лгал самым гнусным образом, называя землю юдолью плача. Бог царя Давида создал землю не для плача, а для радости и повелел своим земным рабам песнями и плясками хвалить его, блаженного бога блаженных людей.

Тихое протяжное пение, которым сопровождалось и чтение библии и проповедь, принимало после этой его речи более быстрый темп. Брат Бауер, со старой библией в руках, начинал сначала медленно, потом быстрее и быстрее, кружиться и плясать. Женщины группами, по пяти или шести в каждой, окружали,—в честь царя Давида,—каждого мужчину. Нависал тяжелый запах пота. И когда огонь в печке утасал, комната погружалась в полную темноту.

В канун Рождества брат Яков Бауер беседовал с тенью господи.

Таким образом, деревня распалась на чуждые друг другу группы фанатиков.

VIII

Мартин был в Покровске, когда была провозглашена «Автономная Социалистическая Республика Немцев По-

волякья». Дело это было решено очень просто: если немцы хотят иметь свое особое государство—это их дело,—сказали в Москве. Мы можем их только поздравить с новой Советской Республикой.

Немецких мужиков это дело тоже не особенно тронуло. Кулаки находили естественным, что на них теперь смотрят, наконец, как на людей. Впрочем, для них было естественно и то положение, когда за немецкую речь полагалась нагайка. Беднота ожидала от большевиков совсем другого.

А русские мужики, живущие на том берегу реки, относились к новому положению дел с полным безразличием. Большевики говорят, что немцы могут жить, как хотят. Пусть будет так. Никому ведь не мешает, если те там, на том берегу, тоже будут жить по-своему. Важно только, чтобы бог дал хороший урожай, а большевики брали не больше налога, чем в этом году.

Мартину удалось поговорить с Эйнштейном всего несколько минут.

— Хорошо, брат, все хорошо. Продолжай только умело свое дело, и через год деревня будет наша.

Когда Мартин проходил по Базарной площади, разыскивая сани, он встретил Майера.

— Я тоже собираюсь домой,—сказал Майер.— У меня было небольшое дело в банке, у товарища Когута. Если ты еще нико́го не нанял, поезжай со мной.

Мартин согласился и сел рядом с Майером.

— Ну, поехали.

Майер погнал лошадей, и они быстро помчались по бесконечным ослепительно-блестящим снежным полям. Теперь не нужно было и думать о дороге. Песок и глина, дорога и посевы—все одинаково было покрыто снегом в полтора аршина высоты. В степи царила полная тишина и безветрие. Всюду однообразная снежная пустыня. Но лошади знали свою дорогу, не нужно было править ими, они сами находили дорогу домой.

— Плохо вы устраиваете свои дела,—начал Майер, после того, что они молча проехали около получаса.

— Что именно ты считаешь плохим?

— Все у вас неправильно. Ничего такого, что можно было бы считать вполне правильным. Но дело, конечно, ваше. Я хочу говорить только об одном, именно: о твоей политике. Знаешь, что я тебе скажу, Мартин. Я говорю тебе от чистого сердца: эта твоя политика добром не кончится. Биться об стену головой не дело...

• — Я тебя не понимаю—сказал Мартин.

— Конечно, конечно,—продолжал Майер, качая головой,—ты меня не понимаешь, несмотря на то, что я говорю совершенно ясно и определенно. Но, конечно, слова своего врага человек всегда плохо понимает, а ты ведь уверен, что я из людей Куттнера. Куттнер считает, что я стою за тебя, и играет со мной в прятки, как бы я не узнал чего-нибудь из ихних махинаций. Ты ведь знаешь, что даже в Совет они меня не провели, хотя... Ну-с, послушай меня, Мартин, я тебе говорю, врагов у тебя более, чем достаточно, тебе не мешало бы заботиться понемногу о друзьях:

— Ты, может быть, и прав,—ответил Мартин,—но я все еще не понимаю, что ты, собственно, хочешь сказать.

Майер пожал плечами и покачал головой. Затем без всякой надобности ударил кнутом по лошадям.

— А ты знаешь, что тебя хотят убить?—спросил он тихо.

— Кто именно?

— Я бы соврал тебе, если бы назвал фамилии, потому что они мне неизвестны. Но зато я знаю, что Куттнер и его компания способны на все. В Дорндорфе тоже недавно убили одного из ваших. А ты, вместо того, чтобы вызвать в деревню милицию, сидишь там у себя в избе с какими-то несчастным балбесами, как будто бы от них зависит судьба мира. Я тебя не понимаю, Мартин. Ты—коммунист. К твоему слову прислушаются все городские коммунисты. Если бы ты не пожалел немного хлопот, ты великолично мог бы передать весь сельсовет в руки милиции. И тогда, поверь мне, мы с тобой вдвоем хорошо могли бы справиться и с деревней и с кооперативом.

Мартин долго не отвечал. Майер испугался. Может быть, он зашел слишком далеко. Прежде, чем заговорить, он долго обдумывал, с какой стороны ему начать, но теперь как-будто

сразу он все испортил. Беда, когда человек стоит между двумя лагерями. Трудно сказать, какая политика для него лучше: натравлять или мирить. Но теперь уже решено. А если Мартин на эту удочку не пойдет... Ну, тогда с Генриком Майером он справится не легко.

Всю остальную длинную дорогу они проехали в полном молчании. Только, когда они под'ехали уже к самой деревне, Мартин, наконец, нарушил молчанье.

— Знаешь ли, Майер,—сказал он тихим голосом,—мне милиция не нужна. Если даже и все обстоит так, как ты говоришь, и тогда я сильнее их.

— Значит, тебе никакой помощи не нужно?—спросил Майер.

— Скажи мне, Майер, неужели ты думаешь вместе с бедняками пойти против кулаков? Никогда не поверю, что ты серьезно этого хочешь.

— Если ты ставишь вопрос так, тем лучше. Ты мне скажи: если ты будешь председателем кантонского Совета, ты меня посадишь на место Кутнера? Я говорю совершенно серьезно.

— Нам не о чем говорить,—ответил Мартин,—мы с тобой никогда друг друга не войдем.

— Если ты так рассуждаешь... Ладно, мне все равно.

— Знаете что,—сказал Майер в тот же вечер двум мужикам, которые приходили к нему интересоваться городскими делами,—все-таки следовало бы что-нибудь предпринять. Я не говорю о том, что нам нужно уступить коммунистам, нет, боже нас сохрани. Я говорю прямо. Мне не может нравиться, что вся наша деревня идет вверх дном из-за... ну, из-за какой-то женщины. Кутнер и Вагнер смертельные враги из-за Ольги Гефеле. Пускай они перегрызут друг другу горло, если им этого хочется, но пусть оставят нашу деревню в покое. Я до сих пор ничего не имел против Кутнера, наоборот, я признаю за ним большие заслуги, например, распределение земли он устроил очень хорошо. Но с тем, что он делает сейчас, никак нельзя примириться. Если дело так

пойдет дальше, в конце концов из-за его бабы мы все очутимся в ГПУ.

На другой день вечером, по окончании занятий, Мартина позвал в сторону Карл Шмидт.

— Правда ли, Мартин, что про тебя говорят в деревне?

— Почем я знаю, что они про меня говорят.

• — Ну, все они говорят, что ты нас натравляешь на Куттнера... ну... только из-за Ольги Гефеле.

Мартин громко засмеялся.

— Мало ли какие глупости болтают люди.

— Еще говорят, что из-за этого ты и жены не берешь.

— Ну и дураки, пусть себе говорят...

Таким образом случилось так, что однажды утром Ольга Куттнер отвернулась от Мартина, когда он захотел поздоровиться с ней.

Старейшина «пляшущих братьев» Бауер предсказал, что первого мая будет конец мира. «Пляшущие братья» проводили целые ночи в доме Анны Губер, распевая свои псалмы.

Но более важное событие затмило предстоящее светопреставление. Это было прибытие в деревню обещанных Мартином лошадей, верблюдов и коров. Их поместили в четырех разных местах, и в эти места сразу же началось настоящее паломничество всего деревенского населения. Посмотреть совершившееся чудо приняли не только те, кто был в нем непосредственно заинтересован. И тем, кто уже заключил договор с кулаками, все же хотелось взглянуть на вновь прибывших «большевистских» лошадей, и даже некоторые из кулаков не могли противостоять своему желанию присоединиться к толпе любопытных.

К Мартину приходил и Майер. В конюшню Мартина стояли две коровы и два верблюда. Посетители рассматривали животных только издали, на расстоянии двух-трех шагов, с соответствующим почтением. Зато Майер подошел совсем близко к ним, ласково похлопал по шее верблюдов, почесал головы коров—видно было, что он не какой-нибудь бедняк,—хороший скот для него не новость. Другие прихо-

дили только не надо!—надо же посетить и другие конюшни! Майер же рассматривал животных до тех пор, пока все остальные посетители не ушли. Когда, наконец, он остался вдвоем с Мартином, животные сразу перестали интересоваться его.

— Ну, Мартин, теперь уже пора решать окончательно: будем ли мы идти вместе или же разной дорогой?

— Это только ты один можешь сказать,—ответил Мартин.—Ты прекрасно знаешь, к чему я стремлюсь, но я понятия не имею о том, чего ты хочешь.

— Если мы с тобой договоримся и будем работать вместе, то мы можем завладеть и деревней и кооперативом... и, конечно, если ты пойдешь за мной, ни в чем тебе недостатка не будет.

Мартин вместо ответа пожал плечами.

— Ну как?—торопил его Майер.

— Мы с тобой друг друга не понимаем и никогда понимать не будем.

— Никогда?

— Никогда. Жалко даже время тратить на такие пустые разговоры.

— Жалко, говоришь? Я даже не знал, что ты так скуп на слова. Ну, ладно. Я и до сих пор в тебе не нуждался и дальше обойдусь без тебя. Обойдусь и без разговоров с тобой.

От Мартина Майер отправился прямо в дом Кутнера. Ему везло: он застал дома жену Кутнера одну. Как раз с ней он и хотел говорить.

IX

Началась оттепель. На Волге тронулся лед, река вскрылась, огромные льдины с грохотом грохоздились друг на друга. Ни люди, ни животные не могли перебраться с одного берега на другой. Затем пошли более мелкие льдины, и скоро весь лед сошел. Острова исчезли под прибывшей водой. Река вздулась и с бешеной быстротой мчалась вниз, к морю, но все же успела разлиться и залить водой оба берега. Когда разлив прошел, река вернулась в свои берега, и только

песчаный желто-серый покров по обе стороны обычного русла показывал, сколько земли весной оказалось под водой.

Крестьяне лихорадочно принимались за работу. Теперь, только теперь, выяснится, кто кого! Разговаривать больше не о чем. Надо работать.

И кулаки и бедняки имели свои веские причины торопиться. Волнение людей передалось даже животным.

Это была не работа, а лихорадочное состязание. Только земля оставалась одинаково спокойной от начала до конца. А она ведь тоже имела свое слово в этой борьбе. И она как-будто была на стороне кулаков. Там, где пахали Мартин и его бедняки, не то было больше песку, чем на кулацких участках, не то глина преобладала в почве. Сибирские лошади чуть не тонули в песке, и плуг еле-еле справлялся с глиной. Все равно! Работат, работать, работать—и все пойдет на лад...

Одно чудо уже совершилось: Мартин достал скот. Теперь уже многие склонялись к тому, чтобы верить и во второе чудо: земля даст чудесный урожай!

— На нашей земле родится столько хлеба,—предсказывал Кара Шмидт,—что вся Россия будет покупать у нас.

Работал Кара Шмидт без особой охоты. Он все еще жаловался на голову, на грудь, но все же был постоянно на полях. Он вертелся вокруг, кидался то к одному, то к другому, мешая работать своими радостными пророчествами.

Но он оказался плохим пророком. С тех самых пор, как Волга вернулась в свои берега, поля не получали влаги. Небо над ними было голубое и ясное. Степь была раскалена от жары, и ни молитвы ксендза, ни псалмы «пляшущих братьев», ни даже пророчества Шмидта не могли вызвать дождя. Осенью озимые погибли от мороза, теперь жара грозила такой же печальной участью яровым.

В начале июня в деревне стали поговаривать о пережитом три года тому назад голодном бедствии. В памяти несчастных людей вновь оживали былые ужасы...

Старики рассказывали о бедствиях прежних поколений. Дети выслушивали рассказы о людоедах и заживо погребенных так, как раньше слушали сказки о волшебных принцах.

— Господь неустанно испытывает свой народ,—слышались жалобы.

— Только жестокими карами он дает нам знать о себе.

В былые времена наезжали киргизские всадники с востока. В больших седельных мешках киргиз, на маленьких киргизских лошадках мною увезено тяжелого немецкого труда. Затем приходили с запада царские солдаты. Приходили для того, чтобы прогнать киргизских разбойников, но так как разбойников уже давно простыл след, делать солдатам было нечего—и они отнимали у трудового народа то, что второпях оставляли киргизы.

Теперь киргизских всадников красные заставляют пахать землю, нет и царских солдат и остался только один враг—песок. Песок—с ним не справятся даже и большевики. Восточный ветер приносит мельчайший песок киргизских степей, а западный покрывает посевы песком, выброшенным из недр раз'яренной Волги в дни весеннего паводнения. И как ни борются, посевы гибнут от напора песка. Против песка они бессильны, как бессильны были против киргизских разбойников и царских солдат деревенские мужики.

Песок и засуха оказались победителями.

В середине июня из газеты «Нахрихтен» деревня узнала, что будущий урожай даст только одну двадцатую часть необходимого.

Этот номер газеты Куттнер распространял по всей деревне.

Люди собирались на улице и тревожно обсуждали положение. Говорили шепотом, как это бывает в доме тяжело больного.

В эти несколько дней вдвое поднялись цены на хлеб.

Из всех немецких колоний массами гнали скот на Покровский и Марксштадтский рынки. Цена на мясо падала с молниеносной быстротой. Посуду, мебель, теплую одежду можно было купить за бесценок. Люди уже хорошо знали, что будет дальше: кто не сумеет теперь же запастись хлебом на зиму, тому лучше сейчас идти по миру. Россия велика,

надо торопиться, потому что горе тому, кого голод застанет здесь, на месте.

Ксеенда говорил о мстительной руке бога.

«Пляшущие братья» днем и ночью громко распевали свои псалмы и требовали чуда от «бога радостей». Говорят, что даже старухи, на глазах своих собственных внуков, принимали участие в любовных радениях «на алтаре бога царя Давида».

Чуть не каждый день можно было слышать о самоубийствах. Один перерезал себе горло, другой повесился. Ужасаясь знакомого им голода, люди находили выход в неизвестной смерти.

Сельсовет спокойно относился к событиям и ничего не предпринимал.

— Пусть теперь помогают большевики, если они так любят совать нос в наши дела, — говорил Куттнер. — Если теперь они не помогут — тем хуже для них. Я-то с голода не подохну.

— Хорошо было бы нам собраться и купить всем вместе столько муки, чтобы хватило на всю деревню. Зимой будет хорошая цена на хлеб.

— Хоть убей меня, не куплю муки золотником больше того, сколько нужно в моем доме. На кой чорт? Чтобы опять помогать нищим, а потом получить в награду черную неблагодарность? Чтобы из благодарности опять вытурили из своего собственного дома? Нет, спасибо... Никому больше не стану помогать. Пусть каждый получит по заслугам!

Майер, который все еще шел своими собственными путями, уехал в Ростов. Говорят, он забрал с собой все свои деньги, чтобы закупить хлеб.

Мартин трижды ездил в Покровск и, наконец, получил определенный ответ на свои хлопоты.

— Москва поможет, — сказал Эпштейн.

— Сейчас?

— Во-время.

На другой день Мартин созвал в деревне собрание. Мужики собирались с трудом. Нельзя знать... быть может..

Но что бы он им теперь ни говорил, они вряд ли поверят... Что можно ожидать хорошего от большевиков?

— Они ведь тоже русские. А разве кто-нибудь слышал, чтобы русские когда-нибудь помогали немецким крестьянам?—сказал кто-то из собравшихся.

— Говорят, что наша страна теперь принадлежит нам, немцам.

— Чортовым псам она принадлежит, а не немцам. Для того они только и навязали нам эту знаменитую «независимость», чтобы они могли сказать: вот вам ваша страна, тут-то теперь все ваше, устраивайтесь, как хотите, от нас никакой помощи не ждите.

Так говорил Мюллер, шурин Куттнера, который в течение целого часа усердно агитировал собравшихся мужиков.

— Правительство рабочих и крестьян спасет народ от голода,—говорил им Мартин.

— Знаем, знаем,—перебил его кто-то из окружающих насмешливым тоном.

— Года три тому назад они тоже так говорили.

— Тогда и Ленин был жив, и все же они не могли нам помочь. Что же мы можем от них ожидать теперь, когда Ленина нет?

— Советское правительство хочет помочь и будет нам помогать,—повторил Мартин.—В настоящее время Советская власть уже достаточно сильна для того, чтобы иметь возможность спасти нас. Если только мы не потеряем голову.

В кратких и ясных словах Мартин разъяснил своим слушателям, что они могут ждать от правительства и что ждет взамен правительство.

Речь его почти не дала результата. Народ был обманут землей, но он почему-то чувствовал себя обманутым большевиками. Теперь даже и те перестали верить словам Мартина, которые еще недавно вместе с ним пахали землю, Зимой—дело другого рода. Тогда речь шла только о том, чтобы бороться с людьми, но теперь...

Только слепой может теперь не видеть, что над деревней карающая рука господ.

Пока Мартин говорил свою речь перед домом сельсовета, в костеле беспрерывно звонил колокол.

— Мы проиграли наше сражение,—сказала Мартину Мария Леман, когда они вместе возвращались домой.

— Наоборот, мы выиграли его,—ответил Мартин.—Мы выиграли, решительный бой. Все мужики считают—и ксенда, конечно, так говорит—что голод послан нашей деревне от бога. Теперь они очень скоро увидят, что Москва сильнее бога!

Х

Мартин и в эти дни находил себе достаточно работы. На полях нашлось кое-какое дело—как-будто еще не совсем погиб картофель, и нужно было продолжать работы по дому. Мужики, за исключением Карла Шмидта, который перешел к «пляшущим братьям»,—все еще приходили иногда к Мартину, хотя выслушивать его лекции уже не было никакой охоты. Мартин и не настаивал на этом. С помощью двух вдов коммунистов он собрал вокруг себя небольшую группу молодых парней и девушек из сирот убитых коммунистов и детей бедноты. Эта новая аудитория охотно слушала его и быстро понимала его слова. То он читал книжки вслух, то просто беседовал с ними, то обучал их военному делу. В несколько дней молодежь совсем переродилась: то, к чему взрослым мужикам было трудно привыкнуть—слово «товарищ»—стало для них самым любимым словом, и между ними было славное соревнование в том, чтобы заслужить звание хорошего коммуниста.

— Я буду красным солдатом и буду бороться вместе с европейскими товарищами.

— Я буду металлистом, буду делать новые машины.

— А я останусь крестьянином. Наша земля даст такой урожай, что больше нигде не будет голодных.

Молодежь серьезно относилась к жизни.

Мартину пришлось позаботиться о корме для скота. Специально по этому делу он должен был ездить два раза в Покровск, в банк и в партийный комитет. Но, наконец, и это дело, кое-как, уладилось.

Деревня была уже на краю отчаяния. Собственно говоря, голод уже был налицо, но люди мучились не столько от голода, сколько от страха. Они с ужасом думали о зиме и о следующем за ней лете, когда наступит окончательное и настоящее голодное бедствие.

Бедные люди! Они не могли справиться с горсточкой кулаков, а теперь они должны вступить в бой со своим богом.

— Успокойтесь. Помощь будет получена во-время. Никто с голода не умрет,—повторял каждый раз товарищ Эпштейн.

Но постепенно и самого Мартина охватывала тревога.

Он провел в деревне уже больше полугода, пахал и сеял вместе с остальными крестьянами, вместе с ними следил за предсказаниями погоды, вместе с ними страдал в предчувствии неминуемого несчастья. Даже его наружный вид приблизился к облику крестьянина. Его солдатская одежда уже изнасилась, он был одет, как и все другие мужики. У него по-старому выросли длинные усы, и он снова приучился курить трубку. Единственная разница между ним и остальными односельчанами была лишь та, что Мартин был коммунистом. Он понимал связь событий и знал, что ему нужно делать. Он знал, что, если деревня окажется бессильной, то ее будет поддерживать более сильная немецкая республика, а если и сил маленькой республики не хватит, то Москва уж, во всяком случае, справится. Он знал, что в свое время все уладится, но все-таки не мог относиться к вещам с таким спокойствием, как это делал товарищ Эпштейн. Он страдал от собственной беспомощности и в тревожном нетерпении грыз свои длинные желтые усы при виде все растущей нищеты. Он забыл и простил своим односельчанам даже то, что они были беспомощными, когда дело шло о задачах, которые были им по силам. Правда, что они были беспомощными и даже трусливыми, но мудрено ли быть другими, когда столько раз они были обмануты и ограблены и людьми и тем, кому они молились. Чувство нищенского мужицкого бессилия в Мартине соединилось со смелым и самонадеянным сознанием коммуниста.

— Господь нас оставил, никакие суетные людские власти нам уже не помогут,—жаловался малодушный народ.

— Помощь будет получена во-время. У нас никто с голода не умрет. Каждый нуждающийся получит необходимые семена—настойчиво повторял товарищ Эпштейн.

• Для крестьян победа над голодом обозначало чудо, в которое они уже не верили. Для Эпштейна спасение деревни и ее голодающего населения казалось задачей, которую советская власть так или иначе должна разрешить. И с помощью партии она ее безусловно решит. Мартин от этой грозившей смертельной опасности ждал революционного перерождения деревни. Он считал, что эта опасность голодной смерти может быть окончательно устранена только революцией в деревне, и что эта деревенская революция должна разразиться именно теперь, когда деревенская беднота изо дня в день ясно видит, что кулак самым бесстыдным образом заботится исключительно о самом себе, и что деревенская беднота может рассчитывать исключительно на помощь городской бедноты.

У Мартина было много времени для размышления. Со времени собрания прошло уже семь дней, а обещанная помощь все еще не пришла.

Деревня совершенно изменилась.

Люди выносили на рынок все, что только имели, чтобы купить на вырученные деньги зерно. Но зерна уже нигде не было. Мюллер, шурия Куттнера, у которого была в деревне бакалейная лавка, не продавал ни горсточку муки. Наоборот, он старался покупать—ведь зимой только начнутся настоящие цены.

Вернулся Майер. Говорили, что все свои деньги он вложил в покупку ржаной муки.

Кулаки выжидали. Они не продавали и не покупали. Затем внезапно—почти в один и тот же день—все они заявили, что хотят продать свой рабочий скот.

Все животные были скуплены Мюллером за бесценок.

Дело началось с того, что Куттнер ездил в город. В Покровске, в Наркомате, он узнал, что помощь из Москвы уже отправлена и находится в дороге. Будут получены семена и деньги для организации общественных работ, чтобы дать

трудоустройство всем безработным, а также и хлеб, который будет продаваться по обыкновенным ценам.

Куттнер взял с собой тот номер газеты «Нахрихтен», в котором была напечатана эта благоприятная весть и поторопился домой. Дома он даже не успел переодеться. Он положил в мешок живого поросенка и пошел к ксеендау.

Ксеенда, увидев Куттнера, перестал читать книгу и стал развлекаться дымом своей трубки, который поднимался к потолку, образуя красивые голубые кольца—ксеенда очень гордился этим своим искусством. Куттнер положил свой подарок на стол и с нетерпением ждал, когда сможет уже начать разговор. Как только экономка ксеенда, выразив восхищение по поводу поросенка, вышла из комнаты, он сразу приступил к делу.

Он рассказал ему, что в городе он узнал, каким способом Москва собирается помогать голодающим. Вместо семян они дадут деньги, а люди должны будут сами заботиться о доставке хлеба.

- Зимой будут безумные цены на хлеб.
- Да, да, — кивая головой, вторил ксеенда.
- Если бы наши мужики не были дураками...
- Что тогда?

Куттнер подробно изложил, каким образом он именно поступил бы, если бы он только не был председателем Совета. Он бы превратил все свое имущество в деньги—Майер рассказывает, что в Ростове можно еще получить зерно по старым ценам. Все свои деньги он обратил бы в зерно. Зимой у людей будут деньги...

— Если я это сделаю,—через год у меня будет вдвое больше слота, чем теперь.

Ксеенда долго думал над словами Куттнера.

Затем, когда он остался один, позвал к себе каждого в отдельности из наиболее состоятельных крестьян. Один принес поросенка, другой—курицу, третий муки—и всем им одинаково пришлось по сердцу слова ксеенда.

От ксеенда все они направлялись прямо к Мюллеру. Он ведь единственный в деревне человек, который имеет наличные деньги. Но Мюллер сначала отговаривался.

— Что же мне делать теперь с живым скотом? Где же я, для него достану корм?

Но в конце концов, после длинных уговоров, он все-таки согласился и купил весь скот.

На другой день он послал ксендзу в подарок целый куль муки.

Как раз в тот же вечер в Покровск прибыл первый транспорт зерна из Москвы.

XI

— Кто бы мог поверить!

— Сотни лет мы молились богу, чтобы он защищал нас от русских, а теперь русские нас защищают от бога.

— Подожди, брат, подожди! Ты пока еще не ел московского хлеба.

Карл Шмидт был первый, кто просил Мартина вновь начать вечерние занятия. В этот раз в доме Мартина в первый же вечер собралось больше сорока человек.

В тот же самый день кулаки тоже имели собрание. На их совещании размышлялись дурные сны. Как же иначе, когда они продали за бесценок свой скот, а закупать муку теперь нет никакой надобности. Коммунисты опять наплевали им в щи—зимой голода не будет.

Прежде всего кулаки обрушились на ксендза, но с того взятки гладки.

— Позвольте, что же я вам сказал,—возмутился он, когда его упрекали.—Разве я советовал вам продавать скот? Или разве я советовал закупать зерно? Никому, никогда ничего подобного я не говорил. Я вам только рассказал интересную историю: каким образом сто лет тому назад, во время большого голода, поступил один тифлисский турок. Разве мог я хотя бы на минутку подумать, что найдется честный христианин, который захочет подражать гадкому поступку язычника, который уже давно горит в адском огне.

Но и с Мюллером они тоже ничего не могли поделать.

— Разве я хотел этой сделки! Пусть будет проклят тот, кто смеет так говорить! Всем же вам известно, что вы сами

упорно и настойчиво, против моей воли, уговаривали меня кушать у вас скот.

Куттнер старался во что бы то ни стало восстановить единство кулаков.

— Неужели в такие тяжелые времена, как теперешние, вы будете ссориться из-за пустяков? Скот вам Мюллер, конечно, возвратит, а вы ему уплатите небольшое вознаграждение.

— Как? Чтобы мы еще потеряли на голоде?—спросили все в один голос возмущенно.

— Терять вы не будете,—успокаивал их Куттнер.— Если вы только будете умны, то ничего не потеряете. Только не подеритесь и тогда увидите, что все будет в порядке.

Сначала в деревне была получена денежная помощь. Но денег даром никто не получит. Люди должны будут идти в степь. Там они будут рыть глубокие каналы, по указаниям городских рабочих. Весной, когда будет наводнение, каналы эти заполнятся водой, а когда Волга вновь возвратится в свое русло, вода в каналах останется. Это придумали городские люди, чтобы справиться с засухой.

— Это не даст защиты от песка,—сказал Мартин Эпштейну.

— Знаю,—ответил Эпштейн,—но посмотри сюда...

Он вынул свернутые в трубку большие листы бумаги и разложил их на столе. Мартин в военной школе научился читать карту и теперь сразу он узнал Волгу, Урал и Дон. На карте ему сразу бросились в глаза три незнакомые красные линии.

— Понимаешь?—спросил Эпштейн.

— Канал? Неужели уже приступают к работе?

— Пока еще нет, конечно. Но как ты видишь, уже совсем серьезно занимаются этим планом. Однако, я вызвал тебя не из-за этого. Слушай: семена, полученные из Москвы, будут у вас через неделю. Распределение их будет не легким делом. Их надо распределить так, чтобы их получили те, кто нуждается и—вместе с тем—и имущие крестьяне. Если

мы раздадим зерно только тем, у кого нет скота, то его наверняка съедят, и в следующем году опять нечего будет жать. А имеют скот—кроме членов кооператива—только кулаки.

— Неужели ты хочешь сказать, что кулак должен получить помощь от советской власти?

— Не совсем, но отчасти это именно так. Мы должны дать им часть семян для того, чтобы они не саботировали, а помогли бы бедноте обрабатывать землю. Потому что важнее всего—иметь достаточно хлеба. Москва сейчас помогла нам, но постоянно она нас содержать не может.

В течение нескольких минут Мартин не мог ничего ответить. Он тер лоб и с удивлением смотрел в глаза Эпштейну. Хотел улыбнуться, но это ему никак не удавалось. За то долгое время, пока он был членом коммунистической партии—он в первый раз испытывал чувство неуверенности. Он не знал, что делать и как поступать.

— Значит, мы должны поддерживать наших врагов?—спросил он наконец хриплым голосом.

— Нет. Мы поддерживаем самих себя. Мы должны иметь хлеб. Земля должна быть обработана. Для нас это вопрос жизни и смерти.

— Но все же, значит, мы должны помогать нашим врагам, кулакам?—повторял Мартин в недоумении.

— Это горькая обязанность, я знаю. Но как ты думаешь: когда городской пролетарнат принужден делать уступки буржуазии—это для него более приятная обязанность? Ничуть! А мы все же должны были поступать именно так, и ты великолепно знаешь, что сделали мы это не в интересах буржуазии, а в наших собственных. Точно также обстоит дело и здесь.

Мартин вскочил.

— Неправда!—закричал он изволнованно. Здесь дело обстоит иначе. Кучка наших деревенских кулаков—это не такая огромная сила, чтобы из-за нее обязательно жертвовать интересами бедноты. Ты не знаешь деревни.

Несколько секунд Эпштейн безмолвно смотрел Мартину в глаза. Затем встал и он, и положил свою руку на плечо Мартина.

— Давай, сядем, брат, — сказал он тихо, — и спокойно поговорим. Поверь мне, что я знаю деревню. Я прекрасно знаю, что твои кулаки—это не серьезная сила. Но знаю и то, что беднота пока прислушивается к их словам, а не к нашим. И так будет до тех пор...

— Никогда они нас не станут слушать,—перебил его Мартин,—если увидят, что мы помогаем кулакам, а не им.

— Будь благоразумным, Мартин. Мне не нужно доказывать тебе, что мы стоим за бедноту, а не за кулаков, но ты же сам испытал, сам видел, что бедняк все еще идет за кулаком. Что же нам делать? Не будешь же ты требовать от нас, чтобы мы раз'яснили им пулеметами. Необходимо обрабатывать землю. Если это может делать только кулак, то мы должны идти с ним. Если же сможет и беднота... ну, ты же знаешь, что тогда наша цель будет достигнута. Твоя задача теперь состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы кулаки не злоупотребляли этим положением.

— Если Сельсовет узнает, что таково ваше мнение — они украдут у нас все, до последнего зерна.

— Для того ты и существуешь в деревне, чтобы этому помешать.

Мартин вернулся домой в деревню в подавленном настроении.

Вся беднота деревни собиралась на работы. Земляные работы должны были начаться около самой реки, в двух часах ходьбы от деревни. Бедняки решили, что во время работ они будут жить там же, на полях. Ночи были достаточно теплые, а что касается еды, то об этом обещал позаботиться Мюллер. Плата за взятый у него хлеб и картофель будет высчитана потом при расчете.

Работники отправились на заре, каждый с лопатой или киркой и с нужными для ночлега вещами. Мюллер одолжил им большой медный котел, в котором они могли варить картошку. Топливо они несли с собой в мешках.

По распоряжению Мартина двое из членов кооператива остались в деревне со скотом. Из молодежи некоторые тоже пошли на работу.

Люди шли медленно, неохотно, молча. Уже несколько дней у бедноты было подавленное настроение. Молчание означало теперь не только усталость и тревогу за будущее, но и невысказанное отчаяние, подавленный бешеный гнев.

Кулаки! Опять кулаки наврали! Они хотели еще раз голода и чумы. Они клялись богом и уверяли всех, что советы не могут, не хотят и не будут помогать. Высмеивали тех, кто еще верил в эту помощь, ругали и клеветали на того, кто обещал ее. Обещал же ее коммунист—Мартин Вагнер. Он сказал правду. Он говорил правду с самого начала, когда обещал лошадей и коров, он говорил правду и теперь, уверяя всех, что Москва не оставит бедноту на произвол судьбы. Помощь из Москвы уже получена, но кому она пойдет на пользу—вот в чем вопрос.

— Теперь кулаки посылают нас на работу, а в это время семсва... московские семсва...

— Нечего бояться. Мартин остался дома. Его-то они боятся. Только его они и боятся.

— Что значит один человек...

— Он один, но он — коммунист!

— Правда, правда. Но все-таки...

Задумчиво, тяжелым шагом они продвигались вперед по песку. Только Карл Шмидт не переставал ни на минуту болтать. Он видел теперь все в чудесно-розовом свете, с тех пор, как сошелся с Анной Губер.

— Увидите, я говорю правду. Мы роем здесь не канавы, мы выроем клад. Сто лет тому назад, когда французский царь был в Москве, сокровища русского царя были зарыты в землю здесь у нас. Немногие люди знали об этом тайнике... Они все погибли при большом московском пожаре. Так и остались эти сокровища в наших песках. Теперь они нам как раз пригодятся. Увидите, здесь будет целая куча золота и алмазов. Такой большой кучи картофеля никто из нас не видел. Если мы только найдем клад! Клад, зарытый здесь у нас...

Но сколько он не говорил, никто из остальных не развязывал языка.

ХП

Когда стало известно, что Москва никому не позволит повышать цену на хлеб, и для подтверждения своего решения она сама посылает хлеб—Майер зашел к Куттнеру в Сельсовет.

— Ты всегда подозревал меня, что я стою за коммунистов. Теперь ты можешь видеть, как несправедливо твое подозрение. Если бы я был за одно с Вагнером, то должен был знать заранее, что будет и не купил бы на все свои деньги зерна и не был бы теперь нищим.

— Вот видишь, господь тебя наказал—ответил ему Куттнер.—Ты хотел спекулировать, хотел разбогатеть на чужой беде. Ты получил по заслугам.

— Куттнер, ты опять несправедлив до мне. Я купил много зерна, это правда. Но я и не хотел спекулировать. Почему же я мог знать, что люди будут иметь деньги на хлеб? Конечно, я не знал. Я думал, что своим зерном я помогу нуждающимся людям, а они уплатят мне за него, кто когда сможет: кто деньгами, кто работой, так что через год я имел бы точно столько же скота, сколько и сейчас, или же, скажем, на одну лошадь больше. Разве это много? Разве я этого не заслужил? Если бы советы не вмешались в дела, на меня все смотрели бы, как на спасителя деревни. Женщины целовали бы мне руки. А теперь—даже ты называешь меня спекулянтom.

Куттнер, усмехаясь, пожал плечами.

— Чего же ты собственно хочешь?

— Если бы ты принял меня, как друга... я думаю, что и тебе и всей деревне было бы полезно выслушать мой совет. Я научен собственным горьким опытом и многому научился. Теперь мне не о чем говорить! Ты же все равно только радуешься чужому несчастью.

— Ну, говори, говори! Я знаю, что ты скажешь что-нибудь дельное.

— Да, конечно...

Когда Майер увидел, что Куттнер не намерен больше уговаривать его, он наложил ему свой план. Он успел вы-

считать, что семян, посланных Москвой, на всю деревню не хватит. Теперь все дело в том, как эти семена будут распределены. Если их получают бедняки, у которых рабочего скота нет, они или их с'едят, или, если даже и не с'едят, то не будут в состоянии их использовать. В деревне нет скота для обработки всей земли. Так или иначе, дело должно кончиться тем, что семена пропадут даром. Москва напрасно старалась, опять будет недород, опять будет голод.

Куттнер сразу понял его план. Он сам уже несколько дней думал о том же, но, тем не менее, он дал Майеру высказаться до конца.

— Ну, а дальше?

— Я не знаю. Не знаю, что здесь можно предпринять. Но ясно одно: нужно что-то сделать.

— Ты может быть хочешь, чтобы мы купили твое зерно?

— Возьме меня сохрани! Даже если бы вы и просили меня об этом, и тогда я не согласился бы привезти его сюда. Еще чего! Чтобы потерять еще и на перевозке! Нет, спасибо! Лучше уж я спасу то, что еще можно спасти и продам его там же, в Ростове, где я и купил.

— Но что же тебе, собственно говоря, нужно?

— Ничего. Для себя я ничего не хочу. Но тебе я советую—раз дела приняли такой оборот, раз Советы уже... Ну, словом, я советую тебе поступать так же, как я, и спасти то, что возможно.

Куттнер закурил трубку. Он хотел выиграть время для размышления и сделал вид, как-будто слова Майера заставили его призадуматься.

— Приходи завтра утром на заседание Сельсовета,—сказал он наконец. Хорошо, если ты и там раз'яснишь дело. А в общем, не беспокойся. Мы не забудем об интересах нашей деревни.

На другой день утром Майер действительно присутствовал на заседании Сельсовета. Члены Совета сразу поняли Майера и согласились с ним. Майер совершенно прав: интересы деревни, Советской власти и увеличение посевной площади—все это требует именно того, чтобы при распределе-

ни зерна принимались во внимание только те, у кого имеется рабочий скот.

— Не будет ли из этого неприятностей? — спросил Мюллер.

— Какие там могут быть неприятности?

— Ну, а Вагнер?

— Что он может нам сделать, этот Вагнер? — вмешался сейчас же Майер. — Мы ведь в самом деле правы. А, кроме того, мы можем доказать, что от неурожая страдаем, главным образом, мы. Остальные и до сих пор ничего не имели, а теперь и мы сделались нищими, именно благодаря тому, что хотели помочь бедным.

— Совершенно правильно! — соглашались кулаки. — Для того ведь мы продали свой скот!

— И, что важнее всего: мы — это Совет! Мы распределили работы, которые будут оплачиваться Москвой, мы должны распределить и зерно по своему усмотрению.

— Ну, то было совсем другое дело. Там нужно было распределить платную работу, а эти семена...

— Они тоже получены не даром. Мы же получаем зерно не для того, чтобы созреть, а чтобы засеять поля и обеспечить будущий урожай.

— Ну, а как же быть с кооперативом? Они тоже имеют скот?

Здесь опять выступил Куттнер.

— Кооператив, конечно, тоже получит семена. Им тоже полагаются семена, и мы сделаем все, что полагается по закону. Вагнеру нужно объяснить, что теперь у нас, владеющих скотом, и у их кооператива одни и те же интересы. Вагнер человек неглухой, он это поймет. А если Совет и кооператив будут стоять за одно, против них уж никто ничего не сможет сделать. Если же кому-нибудь все-таки наше постановление не понравится, тому придется... Ну, одним словом, никто ничего не скажет. Люди ведь все очень хорошо понимают, что не только семена, но и общественные работы распределяются нами!

— А кто поговорит с Вагнером?

— Я с ним не разговариваю.

— Я не клаяюсь с ним.

— Я тоже.

— Пусть поговорит с ним Майер. Он ведь внес это предложение.

— Да, но решал его не я, а Совет. А, кроме того: я ведь не член Совета.

— Это безразлично—сказал Куттнер,—чтобы поскорее кончить спор. — Ты же будешь говорить с ним, не официально. Официально мы с Вагнером никаких дел не имеем и не желаем иметь. Ты можешь просто сообщить ему «по дружбе», что по твоему предложению мы решили распределить зерно только между владельцами скота, и что его кооператив считается равноправным с другими владельцами скота.

Майер отправился к Мартину.

Мартин был дома, Майер застал его во дворе, окруженным группой человек в двадцать молодых парней и девушек. Молодежь слушала его с широко раскрытыми глазами и с напряженным вниманием.

— Приди попозже, мне сейчас, как видишь, некогда,—сказал Мартин Майеру.

— Дело срочное, сказал Майер—очень срочное.

— Ну, тогда расскажи, но только быстро и коротко.

— Я бы хотел говорить с тобой наедине...

— У меня нет никаких тайн!

Майер задумался и почесал себе голову.

— Ну-с...

— В чем дело?—торопил его Мартин.

Они были сразу же окружены группой молодежи. Это были не сонные, вынужденные слушатели, взрослые «союзники» Мартина. Движения у них были быстрые, а с тех пор, как они учились у Мартина, и головы у них стали оживленно работать. Майер несколько минут тому назад был еще очень доволен поручением Совета, он думал, что теперь ему, наконец, удастся осуществить свою старую затею: направить Куттнера и Вагнера друг на друга и самому хорошенько посмеяться со стороны. Теперь Майер сразу почувствовал себя очень неловко. Здесь, в этом тесном кольце молодых

сторонников Мартина, ему не особенно-то легко будет разыгрывать хорошо обдуманную роль. У него было такое впечатление, как будто он попал в какую-то ловушку.

— Ну-с?—торопил его Мартин.

Майер должен был осознать, что отступить теперь он уже не может.

— Я от Совета. От Куттнера, — сказал он очень тихо.

— А что же Куттнеру от меня нужно?

— Ничего. Он ничего от тебя не хочет. Он просил меня передать тебе, что кооператив тоже получит семена.

— Зачем же это мне сообщать? Это я и сам хорошо знаю.

— Дело, видишь-ли, в том... Совет постановил, что семена будут получать только те крестьяне, у которых имеется скот, так как остальные... Ты ведь понимаешь...

— Говори ясно!

— Куттнер просил сказать тебе, что семена получают только те, у кого есть скот—и, кроме того, ваш кооператив. Остальные все равно съедят зерно, так как без скота им все равно не обработать своих участков.

Мартин заставил его повторить сказанное второй и третий раз. Он хорошо знал кулаков, но это их постановление все же поразило его. Сначала он думал, что, быть может, Майер только лукавит и передает постановление так, как ему нравится. Он мог это предполагать еще и потому, что Майер говорил все более и более запутанно и смущенно. От угрожающих возгласов окружающей его молодежи он совсем потерял смелость. Это был голос революции, голос, который до сих пор никогда не звучал в их деревне.

Мартин призвал молодежь к порядку.

— А правду ли ты говоришь?—спросил он Майера строгим голосом.

— Ты напрасно сердисься, Мартин,—ответил тот плачущим голосом,—я только передал то, что мне было сказано.

— Хорошо. Я сейчас же проверю. А ты пока останешься здесь. Товарищи, вы подождите меня здесь, я скоро вернусь.

Не прошло и четверти часа, как Мартин уже вернулся из Сельсовета.

— Ты сказал правду,—обратился он к Майеру. Члены

вашего Совета — это настоящие воры. Я знаю только одного мерзавца хуже их всех... это ты... Потому что ты забыл мне сообщить об одном: это мерзкое предложение сделал именно ты сам.

— Но, дорогой Мартин, я ведь думал...

— Да, я знаю: ты думал, что выйдет совсем по-другому. Тем хуже для тебя. Ребята, выгоните отсюда негодяя!

Молодые парни кинулись на Майера, но Майер, не теряя ни секунды, бросился бежать так быстро, как только мог.

— Оставьте его! — крикнул Мартин, когда Майер был уже за воротами.

Ребята вновь окружили Мартина. Лица у них горели от возбуждения, глаза блестели боевой решимостью.

XIII

Быстро, почти бегом шел Мартин среди выжженных солнцем полев. Путь, на который обычно тратят около двух часов, он прошел меньше, чем в полтора часа. Сама степь как-будто торопила его. Ни на мгновение она не отвлекала его взгляда и внимания. Везде впереди только желтый песок и выжженная, желтая, увядшая трава. Где-то вдали за деревней, медленно шагал одинокий, предоставленный самому себе верблюд, иногда останавливаясь, чтобы своими мягкими широкими губами поймать летящий по ветру лопух или сухой стебель. Легкий северный ветер покрывал лицо и одежду Мартина степным песком.

Дорогой Мартин думал об Эпштейне, об их последнем разговоре. Слов он, конечно, точно не помнил, но он знал, что хотел сказать Эпштейн. «Если кулаки перейдут границы, ты там для того именно, чтобы этому воспрепятствовать».

Но один я не смогу этого сделать и даже не должен этого сам делать.

Я, большевик, зову крестьянскую бедноту к борьбе и становлюсь во главе ее.

Этого хотел Эпштейн, — этого хочет партия.

Уже четвертый день беднота работала в степи. Работа

была тяжелая, непривычная, но бросить ее нельзя. Надо же заработать себе кусок хлеба. А, кроме того, кто знает... Вдруг окажется правдой то, что им говорили, и эта работа даст плоды через год: она им даст воду во время засухи. Если бы только ночи не были так холодны и не слепил бы глаза песок. Песок точно чувствовал, что эта работа направлена против него и здорово беспокоит людей. Ветер дул в их мокрые от пота лица и слепил глаза, забивал песок уши и рот. Ночью, когда утомленные труженики лежали друг возле друга на голой земле, ветер беспощадно срывал с них жалкое тряпье, заменявшие им одеяла и заносил их беспощадным степным песком.

В отчаянии люди ругали Мюллера. Он назначил на продукты, которые отпускал им, высокие цены.

Тот, кто на работах хотел иметь хлеб, картофель или тыкву, платил ему все вырученные за тяжелый труд деньги и не мог рассчитывать даже на фунт хлеба зимой. А кто не ел досыта, тому были не по силам тяжелые земляные работы.

— Если в земле не окажется золота, если только мы не найдем царских сокровищ, то все мы трудились не для себя, а для Мюллера,—жаловался Шмидт, которому уже второй день не давали работать сильные припадки малярии.

Никто не отзывался на его жалобы. Изредка слышалась брань, большинство же работало молча, в отчаянии сжимая зубы.

— Дьяволам бы эту работу!—сказал Шмидт.

— Ты ничего не понимаешь,—возражал Ганс Вильнер. Разве работа была бы легче, если бы ты копался не в земле, а в золоте? Только бы вырыть канаву, и нам не нужно никакого золота. И без золота мы будем каждый день сыты.

— Да—Кутнер и Мюллер будут сыты,—ответил Шмидт и, забывая заветы «брата старейшины», отчаянно ругался.

— Ах, этот мерзавец Мюллер!.. Смотрите, не Мартин ли там идет?

Все бросили работу, как только узнали Мартина. Всеми овладело какое-то страшное волнение. Идет Мартин, их коммунист Мартин! Одни воткнули лишь свои лопаты в землю и, не трогаясь с места, решили ожидать Мартина, другие

бежали ему навстречу. Шмидт снял свой старый, поношенный красный платок и махал им в воздухе, чтобы позвать тех, кто работал далеко от них, в другом месте.

И другая группа, и третья, и четвертая, все бросили работу и бежали бегом, чтобы узнать, что скажет им Мартин. Он не успел еще дойти до места, где работала первая группа, как его окружили со всех сторон и засыпали вопросами.

— Товарищи! Наша деревня получила семена от Советской власти, но кулаки украли подарок Советов...

Дальше он не мог продолжать. Измученная, оборванная, голодная масса поднялась, как один человек, с бранью, проклятьями и угрозами. Кирки, лопаты и кулаки мелькали в воздухе.

— Домой, в деревню! Домой! Домой!

Этот вопль заглушал все остальные.

И все они двинулись в путь. Не было больше брани, но осталось отчаяние. Никто не хотел слышать ничего, кроме того, что уже знал, никто ни о чем не спрашивал. Один из секты «пляшущих братьев» залез псалом, но другие заставили его замолчать. Нестройно шагающая масса построилась в правильные марширующие ряды, но скоро ряды смешались. Истощенные, голодные, грязные, отчаявшиеся люди непреодолимым потоком катились туда, где они чуяли своего врага. Шли, опустив головы и крепко сжимая кирки и лопаты.

Карл Шмидт привязал свой старый шейный платок к рукоятке лопаты и над головами яростной толпы высоко поднялось красное знамя.

XIV

Когда Мартин захлопнул за собой дверь комнаты, где заседал Совет, все сразу заговорили:

— Он натравит на нас всю деревню! Он вызовет милицию!

Куттнер дал знак замолчать, но так как никто не обращал на него внимания, он бил по столу кулаком до тех пор, пока не сообразили, что он желает говорить.

— Ерунда! — сказал он. — Если он думает поднять на

нас деревню, милицию вызову я. Если придет милиция, она не пойдет против нас, потому что мы—Совет.

— Бог знает, — сказал Мюллер, — я все-таки думаю... ну, как сказать... мне этот Вагнер не нравится. У него даже морда такая...

— Конечно, — согласился Куттнер, — не особенно приятно то, что мы должны терпеть в нашей деревне такого человека, но пока мы принуждены его терпеть. За этот год мы имели возможность убедиться в том, что эти коммунисты не так уж опасны, как на первый взгляд кажется. Что, собственно говоря, этот Вагнер может предпринять? Я уже говорил: он не может вызвать милицию. А своими собственными силами — он может только лизать нам...

— Но все-таки, по-моему, не мешало бы...

— Что же ты можешь посоветывать?

— Вот этого-то как раз я и не знаю! Надо посоветоваться с ксендзом.

С этим охотно согласился и Куттнер. Никогда не мешает переложить ответственность на других.

— Хорошо, я поговорю с ним, — сказал он. Я расскажу ему все, и вы увидите, что он будет во всем согласен со мной. Значит, через два часа мы опять соберемся здесь, хотя я уверен, что нам говорить будет не о чем. Все, что мы сделали, делается в интересах деревни, и каждый, кто восстает против наших решений, есть враг деревни и работает на пользу голода. Только в интересах всей деревни мы приняли меры против опасности нового голодного бедствия. Раз вы не уверены в самих себе, ладно, поступим не по-моему, а так, как посоветует ксенда.

Члены Совета не расходились по домам. Дома мало работы и, кроме того, дело деревни важнее, чем свои домашние дела. Ушел к себе только один Куттнер. Дома он переоделся, насыпал в мешок муки и пошел к ксендзу.

Ксенда сидел на веранде и рассматривал полученные из Москвы книги. Вряд ли ему особенно понравилось то, что он из них вычитал. Он в возмущении качал головой.

— Ну и дела! — пробормотал он про себя.

Куттнер поцеловал ксендзу руку и передал ему мешок

с мукой. Ксендз пригласил его сесть, показывая ему место концом трубки и спросил о здоровье.

— Хворать не собираюсь,—сказал Куттнер не то с удивлением, не то с возмущением.

— Это хорошо,—обрадовался ксендз. Нет ничего хуже болезни. Тільки что я читал, сколько развилось всяких скверных болезней! И какие болезни! Раньше даже названий таких не было, а теперь, что ни день, новая болезнь, и извольте справиться с нею.

— Люди уж больно озлобились,—высказался Куттнер.— Поглупели, от того и вся наша беда. Возьмем хоть нашу деревню. Из Покровска мы получили семена, а вот у нас нашлись такие дураки, которые требуют, чтобы мы раздавали их тем, кто их просто сожрет. Они хотят, чтобы мы не засеяли свои земли, и в будущем году в деревне был опять голод. Но я знаю свое дело и погубить нашу деревню не дам!

Он стал подробно рассказывать ксендзу обо всем, о предложении Майера, о постановлении Совета и протесте Мартина и спросил его мнения и совета. Ксендз молчаливо курил свою трубку и за все время рассказа Куттнера не сказал и двух слов. Куттнер, которому в течении долгих лет часто приходилось советоваться с ксендзом в тех случаях, когда деревня или сам Куттнер находились в самых тяжелых положениях, вдруг почувствовал себя очень неловко. Ксендз не желает говорить, тут что-то неладно! Он попытался заставить ксендза заговорить при помощи его же собственного оружия, т.е. длительным молчанием. Но ксендза, повидимому, не смущало молчание гостя, он спокойно продолжал курить свою трубку и молчать. Куттнер, наконец, потерял терпение и решил заставить его ответить.

— Не правда ли, мы правы? — спросил он. — Это совершенно справедливое постановление, не так ли?

Ксендз удивленными глазами смотрел Куттнеру в лицо.

— А почему мне знать, милый? — сказал он немного рассерженный вопросом.— В светских делах я мало понимаю. Но даже, если бы и понимал, вмешиваться в дела деревни мне не полагается. Это запрещено законом, а я, как вы

знаете, уважаю всякие законы: «Кесарево—кесарю, а божье—богу»!

Куттнер потерял всякое терпение.

— Я вас спрашиваю, — сказал он хриплым голосом, — может ли этот коммунист повредить нам или нет?

— Все мы находимся в руках господ!—ответил ксендз.

Куттнер вскочил, отшвырнул ногой стул и вышел из комнаты, не прощаясь, к крайнему удивлению занятого своей трубкой ксендза. Он так торопился, что забыл свою фуражку.

Едва он отошел от дома ксендза, как вдруг почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Руки его дрожали и на лбу появился пот. Он должен был прислониться к забору.

— Чорт его подери, — ругался он, пытаясь приободриться.

Ногами ему удалось овладеть, но руки не переставали дрожать. Должно случиться что-то ужасное, какая-нибудь великая беда, если уже ксендз так подлю решил оставить его на произвол судьбы. Может быть ГПУ... Но нет, он не делал ничего особенного... А все-таки...

Жены он не застал дома. Час тому назад она ушла вместе с Майером, разругавшись со всеми домашними. И для нее сегодняшней день был весьма неудачен. Утром она встрети-лась на улице с Анной Губер. Как всегда, и в этот раз Ольга Куттнер отвернулась, чтобы не глядеть на эту особу. Анна Губер обыкновенно проходила мимо людей с опущенной головой, на этот раз она остановила Ольгу Куттнер.

— Напрасно ты задираешь нос, Ольга Гефеле! Сегодня твой муж председатель, а в будущем году мой Карл Шмидт будет председателем.

Ольга Куттнер была высокой, сильной, черной женщиной, на целую голову выше Анны. Трудно было удержаться, чтобы не плюнуть в лицо этой противной старухе. Она повернулась и хотела идти дальше, но Анна Губер побежала за ней.

— Имей в виду, Ольга Гефеле: в будущем году Карл Шмидт будет у нас председателем. Ему обещал Мартин Ваг-

нер, и еще обещал, что всех вас выгонит из деревни. Всех вас, до единого!

Ольга Куттнер дрожала от гнева, но она не проронила ни одного слова. Стоит ли ей пускаться в разговоры с такой жалкой особой!

Куттнер снова переоделся. Он снял праздничный костюм и надел рабочую куртку. Съел кусок сала и выпил рюмку самогона, но руки его все еще не переставали трястись. Он вошел в конюшню, полюбовался своими лошадьми, почесал им холку, похлопал по бокам, а затем — пришла пора отправляться в Сельсовет.

С тех пор, как беднота была на работе в степи, на улицах было совсем тихо. На этот раз со стороны дома Гефеле слышался какой-то странный, все возрастающий шум. Куттнер шел в противоположном направлении, но он повернул на этот шум. Сначала он увидел красное знамя, затем увидел в воздухе лес лопат и кирок. Дрожа и спотыкаясь, он побегал по направлению к Совету.

Все члены Совета стояли на улице. Среди них находились и Ольга Куттнер и Майер.

Армия Мартина подошла к углу улицы Карла Маркса. Перед домом Гефеле к возбужденной толпе присоединилась молодая гвардия Мартина. Боевые крики молодых парней воодушевили массу: снова раздавались проклятья и угрозы. Быстрый шаг почти перешел в настоящий бег. И руки крепко сжимали свое оружие — кирки и лопаты.

Кулаки укрылись во дворе Сельсовета и закрыли за собой ворота. Некоторым из них двор показался ненадежным убежищем, и они стали искать выход за конюшней, чтобы поскорее удрать отсюда. Другие пошли на крыльцо, третьи — прямо в дом. Майер, который до сих пор стоял около Ольги Куттнер, исчез за конюшней, но Ольга осталась и стояла у самых ворот.

— Они убьют нас. — сказал Куттнер Мюллеру.

— Пусть убивают тебя! Все это только из-за тебя. Я всегда говорил...

Куттнер был смертельно бледен от страха. У него стучали зубы, но все же он не мог не ответить.

— Так, значит, и ты против меня? А кто же больше всех нажил на голоде? Ты или я?

В это время к дому Совета подошли первые ряды толпы. Они остановились. Шум прекратился. Лопаты зловеще повисли в воздухе.

Во дворе была смертельная тишина.

И на улице, и в доме невольно вспомнилась та страшная ночь, когда, с Вальтером Гефеле во главе, они все вместе пришли к этому же дому Советов. И те, которые теперь, внутри дома, дрожа от страха, ждут своего смертного приговора, и те, которые с лопатами и кирками в руках пришли исполнить над ними этот страшный приговор.

Тишина. Все знали, что слово теперь за Марином.

Мартин держал себя в руках. Он знал, что ему нельзя терять спокойствия. Он — во главе деревенской бедноты. Теперь он будет говорить и действовать не от своего имени, а от имени всемогущей партии. Несколько мгновений он стоял молча перед закрытыми воротами. Он вспомнил Покровск и маленькую комнату товарища Эпштейна. Перед его глазами ясно встал портрет Ильича написанный Донкашуровским крестьянским парнем...

Он вышел вперед, стал перед своей оборванной армией и заговорил:

— Беднота деревни пришла, чтобы потребовать то, что ей дано революционным пролетариатом...

Бешеный рев разъяренной толпы. Лопаты угрожающе поднимались в воздухе.

— Долой мерзавцев!

За воротами не слышно ни звука. Мартин безуспешно пытался восстановить тишину, поднимая правую руку. Масса была охвачена гневом. Говорить не о чем... Он сделал шаг вперед, открыл калитку и вошел во двор. За ним, шага на два позади, шел Карл Шмидт. Лицо Шмидта пылало лихорадочным жаром. Дрожащими руками он держал привязанное к дереву лопаты красное знамя.

Мартин еще раз повернулся, чтобы взглянуть на свою армию. В этот самый момент на него бросилась Ольга Гефеле. У нее в руках блеснул кухонный нож. Из ее горла вырвался

не человеческий, а звериный крик. Она бросилась с ножом на Мартина. Другой разъяренный вопль был вопль Шмидта. Древяком своего знамени он нанес сильный удар по руке, сжимающей нож...

— Мать твою... курва проклятая...

Нож упал на землю.

— Стой!—крикнул Мартин, но было уже поздно. Второй тяжелый удар опустился на голову женщины.

Забор упал. Толпа ворвалась во двор. Только стоящие впереди могли увидеть, что именно случилось, остальных зажег хриплый рев Шмидта.

— Курва проклятая! Убить их! Режь их всех! В Волгу!—ревел разъяренный Шмидт, но голос его уже терялся в рычании толпы.

Кулаки все были в доме и дрожали от ужаса. Толпа переступила через лежащее на земле тело Ольги Гефеле, и смертный крик женщины заглох в боевых кликах яростной толпы.

Нажим толпы был так силен, что стоящие впереди были протиснуты далеко во двор, по направлению к конюшне. Одна беременная женщина была смята, какой-то мальчик упал. Но люди ничего не видели и не слышали.

— Товарищи!—крикнул Мартин, но он был бессилен против бующей стихии.

Он вскочил на крыльцо.

— Товарищи!

Теперь у крыльца впереди были те, которые минуту тому назад были в задних рядах. Они двинулись вперед лишь в слепой ярости, не зная даже, что случилось, не зная, куда и на кого кинуться. Дальше идти было некуда. Голова колонны застряла у конюшни и повернула назад.

— Тише, товарищи! Тише...

Как прежде, боевые клики передних были переняты остальными, так и теперь молчаливое внимание впереди перешло ко всем. Была торжественная тишина. Все, как один человек, устремясь к Мартину.

— Товарищи! Наша коммунистическая партия...

Слова эти оказались магическими. Опять поднялась буря длительных несвязных криков.

— Ленин... Совет... Коммунисты... Ленин... Мартин... Москва... Москва...

Все голоса слились в общий гул. Через несколько мгновений настала тишина. Слово за Марином, за коммунистами.

— Товарищи...

Громким, ясным голосом говорил Мартин. Он говорил кратко, и тогда громкими криками одобряла каждое его слово. Затем Мартин, трое мужчин и одна женщина вошли в дом, чтобы переговорить с Сельсоветом. В это время люди подняли мертвое тело Ольги Гефеле и уложили его на крыльце.

Вскоре состоялось соглашение с кулаками. Весь Сельсовет подает в отставку. Прошлогоднее распределение земли объявляется недействительным. Новый Совет должен решить, будет ли земля вновь распределена, или ее обработают коллективно. Судьба московских семян также будет решена новым Советом.

Мартин объявил о состоявшемся соглашении ожидающей его толпе. Его выслушали в глубокой тишине. Только Карл Шмидт не мог удержать свой язык:

— Неужели Куттнера не повесят?

Мартин спокойно продолжал свою речь о задачах деревенской бедноты. Люди слушали его речь с благоговейным вниманием, как откровение.

— Работа... хлеб... союз между городом и деревенской беднотой... канал... тракторы...

— Ей-богу, и выдумать красивее нельзя, — сказал кто-то шепотом соседу.

— Этот Мартин не большевик, — шептал на ухо Анне Губер Карл Шмидт, — не настоящий большевик! Он только болтает, но даже капельки крови уже пугается!





